

84/2 Puez Puez
© 49

Андрей Степанов



12
12
12

ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

ПОДПИСЬ АНТИТЕРА

ПЕРОВОУННЕ

андрей степанов



...5

29...



...47

61...



...71

84/2Рос 2 Р4с
С7с



...105

115...



...129

141...



...157

Сказки не про людей









Жил-был при матушке Екатерине попугай Филюша, птица тогда редкой, а ныне и вовсе вымершей породы ара триколор. Головку имел небольшую, с небесно-синим хохолком, оперенье — снежно-белое, а хвост обширный, пышный, цвета гоголь-моголь с вишней, как бывает зимний закат над Невой. Поднесли диковину российской Семирамиде послы полуденных стран, а каких — то государыня за недосугом не изволила запомнить. Был поглажен августейшей ручкой, назван душкой и помещен в главный дворцовый попугайник под присмотр коллежского секретаря Лебедева. Велено было коллежскому секретарю обучить дикую птицу российскому наречию купно с галантными манерами, привить ей веселый нрав и представить пред царские очи уже довольно просвещенной.

Способности Филюша выказал изрядные, обнаружил и упорство, и прилежание, ну и Лебедев старался. Языку обучал по «Большому словарю драгоценностей», чтоб изъяснялась птичка на манер маркизы де Рамбуйе, грубых слов в клюв отнюдь не брала, а вместо «хвост» говорила бы, к примеру, «управитель небесных полетов». По части же философической штудировал Филюша большую энциклопедию наук, искусств и ремесел — тоже французского живого ума изобретение. А еще, чтобы повеселить матушку, обучил коллежский секретарь Филюшу браниться на всех языках — на всех, кроме русского, ибо знал, что русское соленое словцо терпит государыня только от Льва Александрыча Нарышкина, да и то не каждую неделю.

Вот уже прошло полгода, и давно все было готово, однако пред светлые очи никто не звал — запомывали государыня. Филюша по целым дням прихорашивался, чистил перышки, готовясь к великому дебюту, да рассуждал вслух на разные голоса. А Лебедев прохаживался вокруг золотой клетки, слушал прекрасномудрые речи, поправлял ученика да мечтал о награде.

Но в один вечер все переменялось. Вдруг широко распахнулась в попугайник дверь, и предстал на пороге собственной блистательной персоной Лев Александрыч Нарышкин — всех российских царей свойственник, всех российских орденов кавалер, обер-шталмейстер и превеликий забавник.

Войдя же в птичье помещение, сразу прикрыл длинный нос свой надушенным платком с монограммой, а в платок недовольно буркнул:

— Вонюща! Как на конюшне, мерд!

Коллежский секретарь Лебедев, услышав такое французское слово, мигом изогнулся до страусиной позиции — зад

на вершок повыше головы — да так и замер, а руки растопырил испуганно. Глядя на него, замерли на одной ноге павлины, окаменели фазаны и разом прервали свои беседы все триста государственных попугаев. Наступила тишина мертвая, звенящая, зловещая, какая бывает только перед божией грозой да излияньем вельможного гнева.

Гнев, однако, медлил. Лев Александрыч фигуру Лебедева узрел и обратился прямо к ней:

— Вонь, говорю, у тебя тут, как в стойле. Во что дворец превратил, авортон?

От второго французского слова любитель просвещения руки развел еще шире, а голову склонил ниже некуда. Тишина же продолжалась.

И тут, как гром с ясного неба, раздался голос. Да не чей-нибудь, а точь-в-точь самого обер-шталмейстера, со всеми его носовыми переливами:

— Не вонь, — сказал голос наставительно, — а одеколонь кор-румште!

И прибавил мягко, с чудным французским прононсом:

— Ва-тан о дьябль, пютэн!!

Лев Александрыч, несколько позеленев, правой рукой ухватил лебедеевскую голову за косицу, а левой вздернул за подбородок.

— Ты что это, дразнить меня вздумал, курошуп?

В ответ немедля раздался тот же учительный голос с вельможным переливом:

— Не курошуп, но наставник пер-рнатых!

И прибавил — отчего-то по-немецки:

— Тойфель нохмаль, анцугаффе!!

Увидев, что птичий секретарь глазки поросячьи жмурит, щечками синеватыми дрожит, но рта нимало не разевает, Лев

Александрыч неповинную голову отпустил. Огляделся, ища охальника.

Тишина стояла, как и прежде, гробовая, неподвижность пребывала, как на живой картине. Но одно пятно гармонию нарушало — и цветом, и почесыванием. Лев Александрыч сделал к пятну два шага и углядел наглого вида попугая в золотой клетке. Диковинная птица распушила огненный хвост, синюю голову склонила набок и, высунув толстый язык, косила на его высокопревосходительство глазом без всякого решпекта.

— Так это ты, урод, меня поучаешь? — изумился вельможа. Птица язык убрала.

— Не урод, а пр-ревратность натуры!
И прибавила, на этот раз по-испански:

— Саперлипопет!!

После чего высунула поганый свой язык обратно.

— Эй ты, как тебя бишь, Лебезяев, поди сюда! — обернулся Лев Александрыч к гнутой фигуре.

Коллежский секретарь приблизился на цыпочках, взмахивая руками, как крыльями.

— А скажи, любезный, что это за превратность натуры у тебя тут? На меня карикатур?

— Как можно-с! — воздел крыла Лебедеев. — Ваше высокопревосходительство, Лев Александрыч, не губите! Птичка эта особенная, по августейшему повелению берет курс риторических и философических наук-с. Отец родной, войдите в положение!

— По августейшему? Да ты не врешь?

— Точно так-с. Сами государыня приказать изволили птаху малую просветить. Да только потом про нас забыли-с!

И Лебедеев всхлипнул.

Обер-шталмейстер посмотрел на риторического студента повнимательнее, а Филюша приосанился и переложил язык по другую сторону клюва.

— Так-так-так... Стало быть, тебе велели заморскую птицу просветить, — заговорил Лев Александрыч вкрадчиво, — а ты ее браниться обучил и особ первых двух классов их же голосом лаять... И льстишься теперь таковую забаву государыне представить, чтобы вельмож в шпыней обратить, а самому вознестись превыше пирамид. А не думал ли ты, Лебезяев, что урод твой, то бишь превратность натуры, может и на его величество клюв свой разинуть? А не бунтовщик ли ты, птичий наставник?

От последнего вопроса Лебедев вострепетал всем нутром, словно воробышко, залетевший сдуру в орлиное гнездо.

— Как можно-с! Как можно-с! — залепетал он. — Смилуйтесь, ваша светлость! Птичка редких качеств, и говорит изысканнейше! Речения все отобраны элоквенции профессором Волк-Лисовским по драгоценному словарю маркизы де Рамбуйе-с. А ругается для ради юмору, по-европейски! Токмо по-европейски! Российской грубости на дух не переносит, не так воспитан!

— Вот оно, значит, что. По-европейски... А отчего особ не признает?

— Как не признавать! Как не признавать!

— Да ты не кудахтай. Ты дело говори.

— Лев Александрыч! Для юмору, для юмору птичка на разные голоса говорит! Вам ли юмору не понять! Вот извольте послушать.

И Лебедев обернулся к питомцу:

— Проси, Филюша, прощения у его высокопревосходительства господина обер-шталмейстера!

На что попугай отвечал голоском тонким — отчасти лебедьевским, а отчасти все ж таки наглым:

— Главноначальнику колесниц пр-риношу сожаление за наступление на р-раковины слуха! Как можно-с!

А в конце не удержался, добавил:

— Хозеншайзер!

Лев Александрыч усмехнулся краем тонкого рта:

— А хозеншайзер-то, Лебезяев, это ты. В штаны, говорит, наделал мой наставник, штраус толстопузый. Однако, мнится мне, у птицы есть разум...

— Есть, ваше высоко... есть! — аж захлебнулся от радости Лебедяев. — Не дозволит с самодержицей грубости! Только, Лев Александрыч, то не разум, то рассудок. Вот и Гельвеций, высокий ум, говорит: в бездушном естестве, говорит, разума нетути, и оттого птицы небесные...

— А вот от мудрований своих ты меня, братец, избавь. Мне по должности своей спорить с тобой не пристало. Твоя часть попугайная.

От таковых слов увял Лебедяев, замолк и на всякий случай согнулся в полстрауса. Лев же Александрыч о чем-то глубоко задумался, а глядел при этом на Филюшин огненный хвост. В конце размышления сделал коллежскому секретарю уходительный жест:

— А ну выйди-кось! Мне с твоим мираклем потолковать надо.

Два часа вел вельможа беседу с чудной птицей, но о чем — того Лебедяев так и не узнал. Ходил кругами за дверью, вождедел подслушать, к замочной скважине припадал, но ухо сей же секунд отдергивал, будто от сковородки. Наконец вышел главноначальник колесниц — довольный, на желтом лице даже румянец пробился.

Сказал раздумчиво:

— Завтра за куафюрой государыне покажу... И запомни, Лебезяев: это я его учил, не ты.

Помолчал и добавил грозно:

— Хвост его береги! Да смотри у меня, чтоб без фокусов! Все твое воронье гнездо распатроню! В Сибирь поедешь, галок обучать!

Оглядел страусиное мелкое дрожание и добавил с усмешкой:

— Хозеншайзер!

* * *

Утром следующего дня венценосица-порфиросица, помазанница-царица, государыня и самодержица Екатерина Алексевна облачились в градетуровый капот и отправились делать куафе. В малой туалетной, она же бриллиантовая, комнате присутствовал, как обычно, лишь Александр Васильич Храповицкий, что определен состоять при собственных ея императорского величества делах и у принятия подаваемых ее величеству челобитен. И только приступил к волосочесанию куафер-прихмахер в чине полковника, Николай Семеныч Козлов, как доложили о господине обер-шталмейстере.

Левушку-проказника государыня в любое время принимали. Любили начать день с левушкиной шутки — от этого, говорили, весь день потом легóк. Однако же влетевшего его спросили для порядку:

— Что, Левушка, не спится? Рановато меня посетить решил.

На что Лев Александрыч отвечал не на обычный гаерский манер, а высокаторжественно:

— Не до сна, ваше императорское величество! Летел на крыльях быстрее самого Эола, поелику спешил повергнуть

к августейшим стопам залог вечного благоденствия для будущей России!

Государыня весьма удивились и даже обеспокоились:

— Вечного благоденствия? Да ты здоров ли, Левушка? Да что ж это за счастье такое, и когда оно наступит?

— А сие теперь зависит от одного только желания вашего величества!

— Гм. А мне-то мнилось, что оно уж давно от меня, вдовы, зависит. Однако что за залог-то, Лев Александрыч? Давай говори, не томи.

— Чудо чудное открылось, матушка, миракль фабулё!

— У тебя всякой день чудеса. Да говори ты, тут все свои!

Лев Александрыч надул щеки, выкатил глаза, вдохнул чуть не весь воздух в бриллиантовой, а потом и выпалил:

— Жар-птица, ваше величество!

Государыня ахнули и поглядели на него с сочувствием.

— Ты, Левушка, должно быть, кутил всю ночь, бедный, а ко мне пожаловал в деменции... — сказали, покачав головой. — Жар-птицы — это в русских сказках бывает.

Однако Лев Александрыч не смутился.

— В царствование Екатерины Премудрой все сказки былью обернулись! А извольте-ка бросить взор, ваше величество!

С этими словами чудотворный шталмейстер хлопнул в ладоши, и высокие двери распахнулись настежь. За дверями обнаружились два дюжих лакея, еле державшие высокую золотую клетку, изукрашенную изумрудами и рубинами. А в самой середине радужного блеска, на палисандровой жердочке, подбоченясь крылом, сиял довольством и всеми своими кулёрами наш Филюша.

— Сей есть Филюша, а полным именем нареченный Фелицитат, — тут Лев Александрыч сделал значительную паузу, — что означает счастье приносящий.

Государыню, однако, блеск не ослепил.

— А ведь где-то я пичугу эту уже видала... — молвила она в задумчивости.

— Так точно, видали-с, — вмешался тут господин Храповицкий. — Поднесена прошлым летом иноземными послами, а вашему величеству было угодно приказать, чтоб дикаря сего просветили-с.

— Ах, вот оно что... А ведь верно! В попугайник отдано. А ты-то, Левушка, тут при чем? Нешто ты теперь по птичьей части просветитель? Мы ведь тебя вроде как в обершталмейстерском звании к лошадям ставили.

— Ваше императорское величество! С первого же взгляда прозрел я в сем красавце неоткрытый кладезь мудрости и решил про себя — потружусь для блага отечества! Ночей не спал, полгода учил наукам — и вот ныне слагаю ко стопам. Да вы поставьте клетку-то, остолопы!

Лакеи с облегчением повергли клетку к царским стопам — так, что Филюшина наглая личность оказалась аккурат насупротив бирюзового августейшего взора. Взор же был благосклонен.

— А какой пестренькой-то! — разглядев, умилилась царица. — Попочка, хочешь орехов?

Филюша выкатил белоснежную грудь круглей кавалергарда и отвечал голосом звонким и раскатистым:

— Благодар-рствую, что привели меня в сопр-рикосновение с моим желанием! О, пор-рка мадонна, как же я хочу ор-рехов!

Изволили смеяться.

— Дать! Дать орехов! Заслужил. Эк у него язык-то повешен! Парень бойкой. А где ж он взрос, Левушка? Нешто он итальянец?

Лев Александрыч еще меньше самого Филюши знал, откуда тот родом, однако отвечал без смущения:

— Птица чудотворная, небесного града житель! А где пойман, матушка, то значения не имеет. Важны лишь достоинства его воистину неисчислимы!

— А ты исчисли, исчисли!

— Да вот, для примеру, взять хоть умственность. Знает абевегу, сиречь альфabet, говорит непотребные слова на осьми языках, да все к месту, обожает орехи и печенье, а пуще всего способен к философическому диспуту.

Филюша на все это благосклонно покивал и, отставив крыло в сторону, изящно поклонился.

— Достоинства изрядные, — кивнула в ответ государыня. — Вот, глядишь, мне и поговорить тут будет с кем. Однако ж надо его испытать...

— Р-разумом измеряйте! — встрял Филюша.

— Гм. Разумом... С чего бы нам начать-то, а?

— А с философических наук и начните, ваше величество! — подсказал господин Храповицкий.

— С философических, вы говорите? Ну-тка, попробуем... А скажи-ка мне, птичка божия, в чем корень всякия добродетели?

Филюша глянул на Льва Александрыча, а потом отставил одну лапку, приложил крыло к груди и продекламировал звучно:

— Живи и жить давай др-ругим, но только не на счет др-ругого! Всегда доволен будь своим, не тр-рогай ничего чужого...

И поклонился, прикусив язык, чтобы ничего не добавить.

Государыня изволили даже и крикнуть:

— Кгм! А птица-то и вправду философ. Господин Храповицкий, вы эту мысль занесите в памятную книгу, мы к ней еще возвернемся. А теперь скажи мне, Левушка, не подучили ты его? Ты ведь знаешь, что я превыше всего ставлю импровизацию.

— Как можно! Птичка своим умом дошла.

— А вирши? Неужто он и стихосложению обучен?

— Талант от самой натуры, ваше величество!

— Натур-ра натур-рата! — снова встрял Филюша. И прибавил: — Ор-рехов дайте, заслужил!

У государыни в глазах зажегся аметистовый огонек, который при дворе увидеть всякий мечтал. Означал тот огонек верный фавор.

Орехов было дадено вдосталь, и заканчивали государыня волосочесание уже в полном благорасположении. Филюшу велела из клетки немедленно выпустить, дабы такой ум в неволе не томился, а порхал повсеместно.

Пернатый философ полетал туда-сюда, скептически покопился на малую и большую короны, с одобрением — на бюст Волтера, а потом уселся на этот бюст и принялся покудова за орехи.

Наконец Николай Семеныч в последний раз коснулся расческой воздушной матушкиной куафюры, вложил туда бриллиантовый гребень, поклонился, и государыня встали. В тот же миг господин Храповицкий по заведенному порядку положил на письменный столик стопку указов на подпись.

Государыня принялась за труды. В начале у ней завсегда добрые дела шли.

— Ну, Александр Васильич, докладывай, кто более всех в нашем внимании нуждается?

— Челобитная, ваше величество, от обер-офицерской вдовы Куцапетовой. Просит о вспомоществовании, с осьмнадцатью детьми одна осталась, горемыка.

Матушка потянулись было к гусиному перу, но в этот момент Лев Александрыч незаметно щелкнул тонкими пальцами. Филюша тут же взмыл в воздух, камнем упал на челобитную, повернулся к царице задом и выставил красное перо.

— Что сие значит? — спросила государыня.

— А сие, матушка, значит, — торжественно ответил Лев Александрыч, — что птичка перо свое не жалеет для ради чело-
веколюбия. Дергай да подписывай!

Екатерина Алексевна, прослезившись, протянули ручку, ухватили жар-птицу за хвост, дернули — и подписали.

И с того дня и до самых до в бозе кончины подписывала матушка-государыня все милосердные указы свои только рулевым попугайным пером.

Кончилось все ко всеобщему удовольствию. Филюше определили состоять при особе государыни в должности Собственной Ея Величества Жар-птицы. Льву Александрычу даровано было две тыщи душ за труды. И про Лебедева вспомнили: пожаловали ему звание птиц-директора и табакерку с мопсами, табакерке же цена пятьсот рублёв.

* * *

С того самого утра вошел Филюша в небывалый фавор. Клетка золотая весь день напролет стояла открытая — летай, где хочешь, а он все норовил поближе к матушке. Бывало, сидит на августейшем плече и вдруг: «Молочка!» Берет государыня мейсенский молочник, собственной своей белоснежной ручкой наливает ему в золотое блюдечко, так он еще, шельма этакой, капризничает. Голову вот так набок склонит и — «Вкусно?» —

спрашивает. Улыбнутся Екатерина Алексевна жемчужной улыбкой и отвечают ласково: «Вкусно, милый!»

А то, бывало, сидит на окне грустный и на невский закат смотрит.

Государыня беспокоятся:

— Что-то, — спрашивают, — мой Филюша все в небеса глядит?

А Лев Александрыч тут как тут:

— А тошнота у него, матушка, по своей сторонке, сиречь ностальжи.

Матушка вздохнут и скажут:

— Отпустить бы тебя, Филюша, на цветущий луг. Вот ты ужотко дождись, весна придет, в Сарское поедем...

А Филюша в ответ:

— Не на луг, а в пер-рнатый парадиз!..

Ее величество засмеются, а он добавит:

— Сир-речь в небесный гр-рад, порка мадонна!

— Отрада моя... — государыня говорили.

Все придворные Филюшу усердно обожали. Только один генерал худощавый, тоже с хохолком, все недоволен был: «Птиц, — говорит, — мы тут разных видали. Только раньше всё павлины командовали, а теперь и до попугаев дошли». Матушка его за эти слова в дальний поход услала. А один прекраснотубый молодой человек, пред которым даже и камергеры гнулись на страусиный манер, заметил лениво: «Туды ему и дорога, чтоб нашего Филюшу не обижал». На это государыня ничего не сказала, только улыбнулась. Однако в другой раз даже и его оборвала. Принес орехов полные карманы и кричит на весь Эрмитаж:

— Филюша! Вазиси!

Государыня бровки насупили и сказали наставительно:

— Это, друг мой, птица разумная, а не моська.

Все Филюшу за мудреца почитали. А академии де сиянс директор, княгиня Катерина Романовна, приказала изваять Филюше на свой счет беломраморный бюст и поставить в Эрмитаже насупротив шеренги римских кесарей. Филюше собственный истукан по нраву пришелся, восседал на нем по вечерам с гордым видом, а вот на тиранов человечества частенько гаживал и при том ругался по-французски.

* * *

Но фортуна изменчива, об этом и Волтер, великий ум, писал. Настал для Филюши, а с ним и для всей России, черный день.

Накануне матушка небережно поужинали и потому были не в диспозиции, прохлаждались лимонадом. А пуще всего беспокоились насчет парижских известий про жакобэнские кошмары.

— Что из адова пекла-то пишут? — спрашивали. А узнав, что пишут, волновались еще больше.

Лев Александрыч, не зная, как матушку развлечь, напустил в Эрмитаж простонародных музыкантов. Дудели в дудки, свиристели в свирели, били в тамбуры и бубны. Но музыку государыня не сильно обожала, так что у ней ко всему еще и голова разболелась.

Тогда прибег Лев Александрыч к последнему средству — пошептался с Филюшей.

Филюша же вспорхнул царице на плечо и потребовал:

— Молочка!

Государыня улыбнулись сквозь мигреневые слезы.

— Один ты меня любишь, — говорят.

Велела подать молочник, стала лить в блюдечко.

— Вот, Филюшенька, пишут из Парижа, что разорили злодеи королевский зверинец. Все им мало, злыдням! Доброго

и невинного короля убили, голов настригли, что капусты, а теперь и за бессловесных тварей взялись.

Говорено сие было с жаром и чувствительностью.

Филюша же покосился на матушкину ажитацию и вдруг как ляпнет:

— Нар-род пр-росвещать надо!

От этих слов сразу сделались матушка дезаншанте. Губки подобрали и молвили:

— Однако вижу, Филюша, не так-то ты и умен. От просвещения жакобэнская зараза и народилась. Вот мои добрые мужички, хоть и непросвещенные, да зато на французских каналов ничуть не похожи.

Филюша покосил другим глазом и вдруг спросил ехидно:

— А Пугач?

Имени этого государыня никак слышать не могли — худо делалось. Вот и сейчас за сердце схватились.

— Охти мне! — возопили. — Гидра-то наглет с каждым днем, вот уже и до дворца добралась. Серный запах чую! Да кто же ты таков, Филюша? Друг ли ты мне?

— Аз есмь др-руг человечества! — отвечал Филюша гордо.

Тут генерал с хохолком вмешался, он недавно из похода пришел:

— Матушка, — говорит, — не слушай попугаев! Твоя правда, дольше терпеть нельзя. Дозволь мне выступить супротив бесштаных каналов!

Государыня поглядели на Филюшу, прослезились и кивнули согласно.

— Поход тот решен, — говорят. — Подать мне красное перо!

Филюша, как змеей ужаленный, взвился под самый потолок, оседлал люстру, да как гаркнет оттуда:

— Кр-ривдой пр-равду не исправишь!

От такового глупого сужденья сложили Екатерина Алексевна губки трубочкой и протянули совсем без сил:

— У-у, жакобэн... Ловите птичку!

Началась суматоха. Кто лестницу тащил, а кто сразу и клетку. Филюша же, воспарив надо всеми, крутился, как огненный шар, и кричал — звонко, пронзительно, что хватало птичьих силёнок:

— Либер-рте! Эгалите! Фр-ратер-рните!

А потом воздуху набрал побольше и прибавил совсем страшное:

— А тир-ранам — ля морт!

Гром и молния! От последнего слова все замерли, а государыня вдруг стала белой, как мейсенский молочник. Икнула — и на том кончилось и ее житие, и Филюшин фавор.

* * *

Время погода при новом императоре стали дознавать обстоятельства: не было ли умысла? Арестовали сгоряча Филюшу, но потом опомнились — с птицы-то какой спрос? Принялись тогда дознаваться, кто подучил. Все отговаривались, что и слов-то таких не знают, а Лев Александрыч всю вину валил на Лебедяева, как на мертвого. Государь Павел Петрович, он отходчивый был. Поначалу велел всех в кандалы и пешком в Сибирь, а попугая в чучелу обратить. Но после приостыл и оказал милосердие. Велено было попугайник распустить, птиц-директора прогнать взашей, а обидное пернатое отдать назад отставному теперь обер-шталмейстеру, запереть в темном чулане и кормить там конопляным семенем, доколе своей смертью не умрет.

Филюшу вместе с клеткой отнесли в потайную кладовую в нарышкинском доме — и задули свечу.



Холодной зимой 1917 года в кладовку внесли зажженную свечу. Филюша открыл один глаз и увидел лысого дядьку в кожанке.

— Ты кто? — спросил незнакомец простонародным голосом.

Филюша открыл второй глаз, распрямился так, что хрустнули старые косточки, и отвечивал — хрипло, но гордо:

— Др-руг человечества!

Мужчина удивился:

— Ептеть! Попугай говорящий!

От русского соленого словца Филюша нахохлился и гаркнул:

— Жар-р птица! Жар-р птица! Р-разумная!

И добавил скороговоркой — непонятное, но обидное:

— Шайзе тойфель пер-ркеле нохмаль! Шанглот намудах, говядина!

Кожаный дядька сперва раскрыл рот от изумления, а потом вдруг расплылся в беззубой улыбке. Из нетопленных глубин разоренного дворца донесся еще один голос, погуще:

— Микола, ты чего там вошкаешься? Нашел кого?

— Тут, товарищ Рыбов, попугай говорящий с синей мордой. Ругается не по-нашему, буржуйская тварь. Я, говорит, жар-птица.

В дверном проеме возник еще один лысый субъект — точно такой же, как первый, только в два раза шире и с моржовыми усами.

— В бога мать! — ахнул он. — Клетка-то — целый клад! С камнями! И попугай как из сказки... А может, мы и правда жар-птицу накрыли, а, Кубышкин?

Первый, однако, усомнился:

— Для жар-птицы маловата будет, товарищ Рыбов.

— Может, птенец? — почесал лысину комиссар.

— Да, видно, молодой еще...

Помолчали, любясь сверканием камней и огненных перьев.

— А что, товарищ Рыбов, — спросил младший, — правда, что от жар-птицы, от ней прикуривать можно?

— Предрассудок. Хотя давай, попробуй.

Кубышкин поставил свечу поближе к клетке, достал сигарку и ткнул ею Филюшу в хвост. Филюша сперва оторопел от такой наглости, а потом извернулся и клюнул чекиста в палец.

— А-а, гадло! — взревел тот, отдергивая руку.

— Что, не горит? — поинтересовался комиссар.

— Чего? А... Нет, не горит, товарищ Рыбов, — отвечал раненый, засовывая палец в рот. — Не волшебная птица, это точно.

— А я тебе сколько раз говорил: чудеса попы придумали, чтоб народу глаза запорошить.

— Так оно и есть, товарищ Рыбов.

— А коли не волшебная, то спрашивается: на кой хрен она нам сдалась? — поразмыслил вслух начальник.

— Вот и я так же думаю. Что с ним, разговоры разговаривать?

— Пролетариату нынче болтать некогда, тут ты прав, товарищ Кубышкин. Но пользу буржуйское имущество приносить должно, это ты тоже учти.

— Да какая с него польза? Шею ему свернуть, вот и будет польза. У, гад! Чем я теперь на курок нажимать буду?

Комиссар ничего не ответил. Он стоял глубоко задумавшись, а глядел при этом на Филюшин огненный хвост.

— На перья его пустим! — решил он наконец. — В коммуне не достача писчего матерьялу, пуцай послужит трудовому народу.

— Точно! — согласился Кубышкин. — Будет знать, как клюв распускать. А с клеткой-то чего? Клетка-то важная. Ишь, как блестит...

— Клетку вместе с гадом реквизируем. Пиши протокол, я тебе диктовать буду.

— Так у меня ж палец... И грамоте я не очень, товарищ Рыбов. Уж лучше вы сами...

— Ну, ладно!

* * *

«Председателю ВЧК тов. Дзержинскому.

Сего 8 декабря я, уполномоченный Рыбов Н. Г., производя остаточную реквизицию в особняке бывших Нарышкиных, открыл особую в стене кладовую, где обнаружена мною спрятанная буржуазией клетка золотая с выгибонами одна, а в ней драгоценных камней на глаз штук восемьдесят, посередине которых сидела ненормальная птица с синей мордой и красным хвостом, по виду попугай или вроде птенца жар-птицы. На вопрос кто таков отвечал, что друг человечества, а потом еще по матери нас послал не по-русски. Явный враг, кидался на тов. Кубышкина при исполнении, но может, правда, чудо какое, вы, тов. Дзержинский, его допросите, вам оно виднее, а ежели не чудо, думаю, надо его на перья пустить...»

Товарищ Дзержинский оторвал усталые глаза от протокола и посмотрел на сидевшую перед ним на палисандровой жердочке арестованную жар-птицу.

— Ну, и кто же вы на самом деле, друг человечества? — спросил он саркастически.

Филюша выпятил кавалергардскую грудь и, подняв крыло, с большим чувством осенил себя крестным знаменiem. А потом отвечал голосом звонким и раскатистым:

— Аз есмь небесного града горожанин, а ты бич божий и адова кобылка!

Тусклый взгляд председателя ВЧК оживился зеленым огоньком.

— Так-с. Знакомые песенки. Значит, прав Гаврила Рыбов: враг вы явный, и чувств своих не скрываете. А кто ж вас так хорошо говорить научил?

— Славься сим Екатерина!

— Это какая же Екатерина? Фамилия, адрес.

— Великая, пся крев дупа!

От польских слов товарищ Дзержинский приоткрыл было рот, но усилием железной воли тут же и защелкнул. Подумав немного, выложил на стол револьвер. Спросил тихо:

— Стало быть, вы птица бессмертная?

— Все мы смертны, — ответил Филюша серьезно, не отводя взгляда.

— Но все-таки, волшебная или нет? Жар у вас из хвоста пышет? Признавайтесь. Вы должны разоружиться перед победившим пролетариатом.

Филюша посмотрел на оружие, почесался и ответил:

— Пышет. Держи перо. Р-разоружаюсь!

Всесильный чекист взял в левую руку револьвер, а правой приоткрыл дверцу и осторожно, чтобы не обжечься, полез внутрь клетки. Филюша повернулся к дрожащей руке огненным хвостом. Задержал дыхание, прощаясь мысленно с матушкой.

И нагадил полную жменю.

С выражением гадливости на тонком лице товарищ Дзержинский захлопнул клетку, вытер руку о френч и поднял оружие. Филюша выпрямился, как оловянный солдатик, и бесстрашно посмотрел в глаза своей смерти.

Смотрели друг на друга, не моргая. Потом у железного председателя вдруг дернулась борода, задрожали бескров-ные ноздри, и он отступил на шаг назад. Отбросил револьвер, прошелся несколько раз по кабинету, как по камере, поворачи-ваясь у самой стены, а потом решительно шагнул к клетке. Выволок Филюшу наружу, одним махом выдернул из хвоста перо, макнул в чернила и застрочил поверх рыбовского про-токола:

«Повесить рядом со мной до особого распоряжения.

Дзержинский».

* * *

Повесили Филюшу в плетеной клетке на окне в последнем эта-же дома на Гороховой. Посмотришь налево — виден тифозный закат над Невой, посмотришь направо — виден багровый дворец, где провел он счастливую юность. Утром и вечером давали подмокшего хлеба, а на ночь закрывали пыльным шлемом, чтоб не орал. Орать же было от чего: сны старому попугаю снились тяжелые.

Очнувшись посреди ночи от кошмаров, он сразу попадал в кромешную тьму, окруженную целым морем звуков. Дре-безжали телефоны, матерились матросы, гудел во дворе мо-тор, глуша выстрелы. А из соседней комнаты неслись чьи-то нутряные вопли и чеканные вопросы председателя:

— Я тебе дам «штук восемьдесят»! Кто рубины в клетке ко-вырял? Говори!

Филюша закрывал голову крыльями, но это не помогало. Впервые за двести лет ему совсем не хотелось жить.

Читал про себя вирши:

*Живи и жить давай др-ругим,
Но только не на счет др-ругого...*

Но от стихов делалось еще хуже.

Только под самое утро все стихало. Арестованных убирали вниз, в тюрьму, комиссары были еще на обысках, а прочие сотрудники падали с глухим стуком на пол и засыпали часа на два. Замолкали телефоны и захлебывался, наконец, проклятый мотор.

В один из таких звенящих тишиной предутренних часов с Филюшиной клетки вдруг сдернули шлем. Попугай вздрогнул и развернулся на жердочке. Прямо перед ним белело в неверном законном свете и без того бледное лицо председателя. Странно, но Филюше показалось, что бич божий улыбается.

— Хотел посмотреть, не приснились ли вы мне, — сказал чекист как бы про себя. — Хотя какой тут сон, когда я теперь все расстрельные указы только вашим пером и подписываю...

Он замолчал, и опять нахлынула тишина — мертвая, звенящая, зловещая. Филюша молчал и готовился к самому худшему. Но страшный человек вдруг спросил совсем неожиданное:

— Скажите, а вы сколько отсидели?

— Сто двадцать один год, — твердо ответил Филюша, глядя прямо в глаза упырю.

И вдруг он заметил, что в этих пустых глазах затеплился огонек. Только не зеленый, как на допросе, а скорее аметистовый, как когда-то у матушки.

— В одиночке?

— В одиночке.

Дзержинский потер бледный лоб и вдруг заговорил глухо и быстро:

— А я всего одиннадцать лет. Из них в одиночке два. В Варшаве, в цитадели. Там из окна почти ничего не было видно, только неба немножко. Я от этого неба чуть опять в бога не уверовал...

— А я и без неба увер-ровал, — твердо сказал Филюша.

Председатель помолчал, а потом продолжил отрывисто:

— Каждый день товарищей на казнь уводили... А теперь я сам приговоры подписываю... Красным пером... А как же иначе? Иначе нельзя. Гидра-то наглет с каждым днем. Кто защитит счастье будущей России? Кто?

Филюша ничего не ответил.

Тишина вернулась.

— А тебя как зовут? — вдруг совсем просто спросил Дзержинский.

— Фелицитат.

— Фелицитат. Счастливый... Я тоже счастливый. Феликс.

Он криво улыбнулся, а потом вдруг потянулся к клетке.

* * *

В этот утренний час редкие прохожие, обходившие стороной страшное здание бывшего градоначальства, стали жертвами массовой галлюцинации. Они видели, как на последнем этаже со стуком распахнулось окно, и в небо взмыла радужная жар-птица. Крутясь, как огненный шар, она неслась навстречу зимнему солнцу и орала истошным голосом:

— Либер-рте!





микроб Гриша заболел. Весь день у него ломило жгутики, и нуклеоид колотился как бешеный.

Всю свою небольшую жизнь — три дня — Гриша прожил на яблоке, большом зеленом яблоке сорта антоновка. Это немытое яблоко лежало в стеклянной вазе на столе уже пять дней, и за это время на нем собралась большая и дружная компания. Микроскопические животные, растения, грибы, водоросли, бактерии — все жили мирно и весело, никто никого не ел, на всех хватало зеленого яблока. Даже тупые вирусы и злые паразиты, иногда попадавшие среди обычных микробов, держались скромно и не нарушали идиллию.

Гриша выделялся среди своих родных и друзей пытливым умом и приветливым нравом. Встречая нового микроба, он обязательно спрашивал, как его зовут, какого он штамма

и давно ли поселился на Зеленой планете (так микробы называли свое яблоко). У него было много друзей. Они вместе совершали восхождения на вершину яблока, где находились Большой Кратер и Кривое Дерево, купались там в капле воды, называвшейся Озером, и играли в игру «Нас не догонят», очень популярную среди российских микробов.

Но еще ближе, чем с микробами, Гриша сошелся с червяком Пал Иванычем, который жил внутри яблока. Пал Иваныч был единственный червяк на всей планете, уже немолодой и одинокий. У него было все, что нужно в старости — большой дом и вдоволь пищи, но он скучал, и потому был не прочь поболтать, хоть бы и с микробами. Гриша часто подолгу сиживал на краю дырки, ведущей во владения Пал Иваныча, и слушал рассказы старого червяка о его яркой жизни.

День, когда Гриша заболел, был ясный, солнечные лучи весело резвились в стеклянной вазе, и все Гришины друзья-микробы отправились купаться на Озеро. Гриша пошел было вместе с ними, но по дороге вдруг почувствовал, что дальше идти не может. Не желая волновать товарищей, он потихоньку отполз в сторону и присел отдохнуть неподалеку от пещеры Пал Иваныча.

День был так хорош, что Пал Иваныч тоже вылез до половины из своей норы и с усмешкой наблюдал за играми юных микробов.

— Ну шо, Гриня, чего нос повесил?

Пал Иваныч был родом из Ростовской области, откуда, собственно, и привезли зеленое яблоко, и букву Г он произносил по-южному, почти как Х.

— Все вон пацаны балду пинают, солнышку радуются, а ты сидишь тут квелый, как холерный вибрион.

— Заболел я, дядя Паша, — ответил микроб упавшим голосом.

— А шо такое?

— Общий упадок сил. Вялость, апатия, жгутики подгибаются. Наверно, заразился чем-то...

— Да чем тебе заразиться, ты же сам зараза?

— Я не зараза, дядя Паша. Я микроб чистый, почти стерильный, принадлежу к условно-патогенной флоре.

Гриша был потомственный петербуржец. Его предки были случайно выведены в Петербургском Институте Гриппа, и потому выражался он очень культурно, иногда даже по-научному. Он вовсе не считал себя одноклеточным.

— Ишь ты, к флоре. Козявка пузатая. И шо это за флора такая условная?

— Это значит, что пока я один — я не вредный. А вот если меня обидеть, то я начну лавинообразно делиться, и тогда держись все живое!

— Вона как. Хорошо вам, микробам — сами собой делитесь. И баба вам не нужна...

И Пал Иваныч вздохнул.

— Заболел, говоришь? Ну ничего, Григорий, ты не журишь, сегодня нас всех вылечат.

— Как вылечат?

— Большой день нынче, Гришенька. Сегодня нас есть будут.

— Как есть?

— Да так, есть. Яблоко вон уже пятый день в блюде лежит. Какая ж хозяйка такое потерпит? Да будь я тут не один — от яблока бы одно название осталось. Сегодня и съедят. Но ты не бойсь. Вам, микробам, в организме еще лучше, самый ништяк. Все болезни как рукой снимет. Организм — он специально для вас выдуман, чтоб вы его принимали вместо лекарства.

— А вы? А как же вы-то, дядя Паша? Вам разве можно туда?

— Да можно, можно... Только не люблю я в организме жить. Я червяк вольный! Но ты за меня не переживай, мне не впервой. Я там долго не задержусь. Мне главное — через зубы пройти. А потом я ход знаю.

— Да какой же там ход?

— Э, брат, все тебе скажи. Есть там одна заветная дверка. Оно, конечно, к ней еще пробиться надо, но ради свободы чего не сделаешь.

— А почему вы сейчас не сбежите, пока яблоко еще не съели?

— А чего мне бежать? Не надо мне бежать. Побегал я за свою жизнь, брат Гриня, и понял одну штуку: от судьбы не уйдешь. А жизнь — она такая. Ежели бояться не будешь, то повилает-повилает и сама на волю выведет. Раньше или позднее. Да и потом, понимаешь, скучно же в яблоке всю дорогу сидеть, на всем готовеньком. Зачахнешь тут, захвораешь...

— Это точно. Жизнь скучна, когда боренья нет... А вы, значит, уже были в организме?

— Да считай раз пять.

— И как там? Не страшно?

— Ну, мое дело насекомое, всякое случиться может. А тебе-то чего бояться? Ты микроб, тебя на зуб не возьмешь. Зубная паста там, конечно, случается анти... антибакти... ну, в общем, против вашего брата. Но это редко. А боле ничего.

— Есть еще фагоциты.

— А это кто?

— Убийцы микробов. Звери настоящие.

— Ну, авось не встретишь. А попадешь в организм — считай, что квартиру в новом доме получил, да не квартиру, а целый дворец. Выбирай любое помещение для жительства. Хочешь — в печенках поселяйся, хочешь — в почке, а хочешь свободы...



Он не договорил. Зеленая планета вдруг раскололась почти пополам. Гриша успел увидеть, как разверзлась, втягивая в себя пол-яблока и его самого, багровая бездна. Огромные белые клинки начали со страшным лязгом крушить яблочную мякоть на мелкие части. Гибкая поверхность, широкая, как спина кита, поднялась откуда-то снизу и стала давить из яблока сок. Сок смешивался с тягучей и сладкой жижей и заливал все вокруг.

Гриша уцепился дрожащими жгутиками за выступ в потолке и с ужасом смотрел, как его планета медленно превращается в белую текучую массу. Вдруг что-то дрогнуло внутри организма, и часть размельченной массы двинулась вглубь. Потом масса остановилась, и клинки продолжили свою жуткую работу.

Ему казалось, что все уже кончено, что он умер, и страшный мир только снится ему. Он зажмурился, съежился, и в этот момент вдруг услышал совсем рядом родной голос:

— Григорий, ты жив?

— Жив, жив, Пал Иваныч! Я здесь!

— Ну, слава богу! Ты за меня держись. Главную погибель проскочили. Сейчас опять ворота откроют, потечем вниз.

— Погодите, дядя Паша. Отдышаться мне надо.

Гриша чувствовал такую слабость, что еле держался за Пал Иваныча.

— Ну шо с тобой делать? Ну давай хоть поглубже за бугор спрячемся.

Они забрались поглубже и притаились.

Внизу был вход в красивую полукруглую пещеру. Мощные розовые арки уходили вниз, в темноту. Перед воротами, как называл вход в пещеру Пал Иваныч, теснились, словно льдины на реке, недожеванные куски яблока.

— Красиво, да?

— Красиво, Пал Иванович. Только плохо мне. И страшно.

— А ты не бойсь и дыши глубже. Сейчас твой упадок проходить начнет.

И действительно, с каждым мгновением Гришина слабость куда-то исчезала. Казалось, сам воздух внутри организма был целебен для здоровья микроба. Очень скоро он почувствовал, что почти готов к походу.

— Ну шо, Гришенька, остаешься в организме? — спросил Пал Иванович. — Вишь, тут тебе самая атмосфера.

— Нет, дядя Паша, — твердо ответил микроб. — Я с вами пойду. Хочу на волю, к новому яблоку.

Пал Иванович поглядел на него, и в его взгляде Гриша почувствовал уважение.

— Ну, раз так, то двинулись — вперед и ниже. Но смотри, потом не ныть. Путь нам предстоит нелегкий.

— Я выдержу, Пал Иванович!

* * *

Медленно и осторожно они начали спускаться в пещеру. Теперь, когда последние куски яблока провалились вниз, ворота оказались полуоткрыты, и в них медленно втекала сладкая влага. Друзья погрузились в нее и поплыли.

— А что там, наверху? — спросил Гриша, глядя на медленно проплывающую над ними арку.

— Твердое небо. А за ним носоглотка.

— А еще выше что?

— Там, Гриня, дорога к храму. Мозги там. Но мы с тобой к храму не пойдем. Нам свобода нужна, а не храм. И потому путь наш в другое место лежит. Так что давай шевели отростками, а то скоро нижнюю дверь закроют.

И тут перед ними открылся огромный зал. Где-то впереди смутно белели куски яблока. Белые пятна теснились у небольшого проема и быстро, одно за другим, исчезали в темноте. Завидев цель, Пал Иваныч сразу прибавил ходу. Гриша устремился следом, но слабость все еще давала себя знать, и он все время отставал. Они не успели совсем чуть-чуть. Последний кусок яблока протиснулся внутрь, и дверь захлопнулась прямо у них перед носом.

В ту же секунду в полу распахнулась дыра, и туда со зловеющим свистом стал уходить воздух. Пал Иваныч вжался в стену возле двери, а Гриша забился в пространство между стеной и червяком и всеми жгутиками вцепился ему в хвост.

Ветер становился все сильнее, это был уже настоящий ураган — и вдруг все разом стихло, так же внезапно, как началось. Наступило небольшое затишье, а затем воздушный поток поменял направление. Теперь он рвался наружу и уходил в верхние ворота. Потом все повторилось. Ветер дул попеременно в разные стороны, то достигая ураганной силы, то затихая, а Гриша ежился от холода, дрожал от страха и жался к своему другу. Старый червяк сохранял полное спокойствие и только ворчал:

— Обожрался, скотина, теперь отдышаться не может. Даже яблоко кусить лень. А мы тут жди на ветру. Ну, ничего, Гриня, ты терпи, делать нечего. Такой в этом месте закон природы: кто не успел — сиди в глотке, пока новая порция яблока не приедет. Вот тогда он живо двери откроет.

— Дядя Паша, а что там будет, за дверью?

— Тоннель. Как только пролезем туда, ветер сразу и кончится. Ты не вешай нос.

— Да нет у меня никакого носа, — сказал Гриша, приободрившись. — А что за тоннель-то? Длинный?

— Это смотря с чем сравнивать, — важно ответил Пал Иваныч. — Вот ежели, скажем, со слоном, то тьфу, плевое дело.

— Так вы и в слоне были? — изумился микроб. — Расскажите, дядя Паша! Пожалуйста!

— Да шо тебе рассказать?

— Ну, какая у него анатомия, у слона?

— Какая-какая... Слоновья. От самого хобота и до воли кишка идет. Килóметров десять. Ползешь, ползешь, пока не проклянешь все на свете. Хоть жить там оставайся. Многие и оставались, пути не выдерживали...

— А как же вы туда попали?

— Да по глупости, молодой тогда был. В Ростове дело было, в зоопарке. Я тогда в груше решил поселиться. Польстился, понимаешь, на грушу. Сладкая, сочная, восемь пятьдесят кило на старые деньги. Кто ж знал, что такую грушу слону скормят? С тех пор — ни-ни, яблокам не изменяю.

Гриша был так поражен рассказом, что забыл об опасности и вылез Пал Иванычу на спину. Он хотел спросить, что было дальше, на воле, но тут ветер снова стал дуть внутрь организма, и его чуть не унесло в пропасть. Гриша распластался на спине червяка и замер.

— Ты чего, Григорий, ума лишился? — говорил Пал Иваныч, придерживая его хвостом. — Вот ухнешь в поддувало — и все, поминай как звали микроба. Ты чего?

Ветер затих. Гриша юркнул в щель между стеной и червяком, встряхнулся и сказал с достоинством:

— А это вовсе не поддувало. Это называется трахея.

— И откуда ты только слова такие знаешь? — удивился Пал Иваныч.

— Ну... Я ведь только так, теоретически, — сразу смутился Гриша. — Дядя Паша, а вас туда не затянет, в эту... в трахею?

— Случалось и такое, — спокойно ответил червяк. — Но ты за меня не переживай. Меня отсюда сразу назад выкашляет. А вот ты, если что, там до конца жизни останешься, понял?

Грише стало стыдно, что он похвастался своим культурным багажом. Он уже понимал, что без опыта Пал Иваныча его знаниям грош цена.

Снова наступила пауза, а потом ветер задул с удвоенной силой, и все вокруг быстро заполнилось едким удушливым дымом. Пал Иваныч закашлялся.

— Закурил, гад, — сказал он, с трудом переводя дух. — И табак какой едреный! Организм-то наш, видать, самец.

Гриша никогда не курил и, как всякий микроб, не любил запах табака. Он снова почувствовал слабость, но решил не подавать вида. Ему хотелось расспросить подробнее, почему организм самец, но тут, наконец, сверху хлынул мощный яблочный поток. Проклятое трахейное поддувало, словно испугавшись, мигом захлопнулось, а дверь распахнулась перед ними настежь.

— Вперед! — закричал Пал Иваныч. — Шустрей давай! За хвост держись!

Яблочная масса с дикой скоростью неслась в тоннель. Гриша мертвой хваткой вцепился в хвост, Пал Иваныч сделал мощный рывок, ввинтился на ходу в последний кусок яблока, и они влетели внутрь. Позади хлопнула тяжелая дверь.

* * *

В тоннеле оказалось очень хорошо: тихо, безветренно, спокойно. Небольшая смирная речка подхватила их и, довольно журча, понесла вниз по течению. Стены здесь были влажными и подвижными: они сокращались волнами, словно помогая

ленивому потоку, и проталкивали путешественников все дальше и дальше в неведомый мир.

Гриша быстро освоился в новой обстановке и стал проявлять любознательность.

— Пал Иванович, а вот интересно, что там за стеной?

— Легкие проходим, — ответил всезнающий червяк. — В этом цеху воздух в кровь загоняют. Вот кабы сквозь стену можно было посмотреть, ты б увидел, какого они цвета...

— А какого?

— Да зеленые они все от курева! Эти организмы — они же сами себе могилу роют. Особенно мужики. Ежели в самку попадешь, то еще ничего. Они теперь тоже смоят будь здоров, но хоть не такую дрянь. А уж если не дай бог в наркомана занесет — пиши пропало. Там и останешься. Только о себе думают.

— Ох, не случайно мне этот дым не понравился, — вздохнул микроб.

— Еще бы.

Тоннель постепенно сужался, и дорога становилась все хуже. Речка обмелела, течение прекратилось, и им приходилось преодолевать сухие участки ползком. Гриша слез с хвоста и шлепал за вольным червяком на подгибающихся жгутиках, изо всех сил стараясь не отставать.

Как только они достигли самого узкого места, все вокруг вдруг содрогнулось. Стенки сократились так резко, что чуть не придавили Пал Иваныча.

— Икота!! Держись, Григорий! Со всех сил цепляйся!

Они уцепились за какую-то кочку и замерли. Мощные толчки повторялись через неровные промежутки времени.

— Дядя Паша, долго это еще будет? — дрожащим голосом спросил микроб.

— Этого никто не знает. Если организм не дурак, то водички попьет и дыхание задержит. Тогда тихо-мирно дальше поплывем.

— А если дурак?

— А если дурак, то можем до вечера тут просидеть.

— Я не могу больше! Я сейчас делиться начну!

— Эй, Григорий, а вот эти шутки ты брось! Я ведь тоже живой — что же, ты и на меня своих мымров напустишь?

Грише стало стыдно. Как он мог даже заикнуться о деле-нии?! Ведь тогда не только организм, но и Пал Иваныч оказался бы в смертельной опасности. А разве Пал Иваныч не спас ему жизнь еще там, наверху, и разве он не ведет его к свободе? И разве есть у Гриши другой такой друг и учитель?

Толчки внезапно прекратились.

— Держись, Гриня, сейчас вода пойдет!

И действительно, не успел старый червяк договорить этих слов, как тихая речка превратилась в бурный поток. Вода бушевала и пенилась, обтекая спасительную кочку, а Гриша, зажмурившись, всеми жгутиками и ворсинками цеплялся за скользкую поверхность.

— Уф, пронесло! — услышал он наконец голос Пал Иваныча.

Гриша огляделся и увидел, что вода схлынула. Речка стала чистой и прозрачной.

— Значит, умный организм оказался, — сказал червяк, отряхиваясь. — Ну все, поплыли. Теперь у нас самое пекло впереди.

— А что такое?

— Сейчас, значит, еще одна дверь будет, а сразу за ней — мешок. Вот там мне хуже всего придется. Тебя-то хрен переваришь, а от меня, если в мешке часок посидеть, одна слизь останется.

— Химус по-научному, — добавил Гриша.

— Ох, образованный ты микроб, Гриня, только жизни ни фига не знаешь. Химус не химус, а тикать оттуда надо будет по-быстрому.

— А потом?

— А потом еще хуже. Контрольно-пропускной пункт.

— Что-что? — Гриша очень удивился.

— Когда из мешка выходишь, там привратник сторожит.

— По-научному тоже привратник.

— Вот этого научного привратника и надо пройти.

— А если привратника пройдем, что будет?

— Новые приключения, Григорий.

* * *

Без всяких происшествий они добрались до конца тоннеля и увидели впереди широко распахнутые ворота. Поток забурлил и понес их на простор. Вверху стремительно пронеслась какая-то арка, а потом у них за спиной захлопнулись ворота — так резко, что Гриша всей мембраной почувствовал: дороги назад не будет.

В желудке, или мешке, как называл это место Пал Иваныч, творился суший ад. Кипела масса, в которой было уже не различить родного яблока. Стаи микробов — злых, совсем не таких, к каким привык Гриша на Зеленой планете, — носились взад-вперед с деловым видом. Грише показалось, что среди них пару раз мелькнули страшные мордатые фагоциты. И атмосфера здесь была какая-то кислая, неприятная, как на рынке.

Гриша растерялся.

— Ты, Гриня, главное, хвост не отпускай. А куда здесь плыть, я знаю, — услышал он уверенный голос.

Пал Иваныч был червяк крошечный, почти микроскопический, но Грише он казался чудо-богатырем. Уцепившись

за хвост, он зажмурился и во всем положился на своего друга. Пока они пробирались через мешок, Гришу десятки раз задевали разные микробы, на него брызгал противный желудочный сок, он был по всей поверхности облеплен какой-то липкой дрянью. Он натерпелся такого страха, что чуть не отдал богу свою маленькую душу.

— Григорий, — услышал он наконец голос Пал Иваныча. — Жив ты там? К привратнику подходим. Ты спрячься подальше там, под хвостом.

Гриша забился подальше, но его томило любопытство, и он украдкой выглянул наружу. Они стояли возле очень узкой, плотно прикрытой двери.

— Твóрог или творóг? — спросил из темноты воинственный голос.

— Йогурт! — с достоинством ответил Пал Иваныч.

— Хм. Откуда пароль знаешь?

— Так ведь не в первый раз.

— Как сюда попал?

— Яблочник я.

— А кто это там у тебя под хвостом заховался?

— Мальчишка со мной.

— Так бы сразу и говорил. А то прятаться. У меня и микроб не проскочит. Выведем вас отсюда через верхние ворота, будете знать.

— Ну зачем же организм беспокоить? Мы народ тихий, сами выберемся себе потихонечку через нижние. Никому никакого ущерба не будет.

— Хм. А микроб не вредный?

— Нет, нет! — поспешил вмешаться Гриша. — Я даже полезный, из условной флоры!

— А раз полезный — сиди в желудке, нам такие нужны.

— Я условный! — закричал Гриша. — Я могу делиться начать! Мне нельзя тут долго! Держись все живое!

— Ну ладно, ладно, проходите.

Дверь приоткрылась, и Пал Иваныч скользнул в тоннель.

— А ловко ты его, Григорий, пуганул. Вот не ожидал от тебя. Молодцом, паря!

Гриша приободрился. Услышать такой комплимент от самого Пал Иваныча было все равно, что получить медаль. Он окончательно вылез из-под хвоста и устроился у него на спине.

* * *

Они опять были в тоннеле, но только теперь речка стала совсем другой — это была не жидкость, а медленная вязкая масса. «Химус», — догадался Гриша. Со стенок в речку стекали какие-то капли.

— Пал Иваныч, а что это в речку капает? Как будто сок опять, как в желудке. Вас не переварит?

— Ну, этот сок не страшный. Только смотри, стенок не касайся. Там самая железа.

Вдруг в боковой стене показалось отверстие, и из него брызнула на них какая-то едкая жижа. Мелкие твари, размером не больше Гриши, выскочили из нее и ринулись к ним, пытаясь вскарабкаться на Пал Иваныча. Но тот мощно ударил хвостом и быстро ушел вперед.

— Это, брат Гриня, секреты поджелудочной железы. Расщепить нас пытались. Да только куда им! Секреты ихние мы все знаем. Ты не бойсь.

— А я и не боюсь, дядя Паша. Мне с вами ничего не страшно!

Они проплыли еще немного, и тоннель стал постепенно сужаться.

— Тощие кишки пошли, — сказал Пал Иванович. — Ну, тут можно отдохнуть. Качайся на волне, Григорий, наблюдай жизнь. Ишь, стенки какие гладкие!

— А тут атмосфера совсем другая, дядя Паша. Там было кисло, в мешке, а тут, видимо, щелочная среда.

— Ну, тебе видней, как оно называется, ты у нас ученый. А по мне это, считай, как контрастный душ.

— Мне тоже нравится. Только химуса много.

— Химус что. Вот дальше увидишь, что будет.

— Да я вообще-то знаю, что будет, теоретически. Фекальные массы.

— Во-во, массы.

Гриша понимал, что его другу приходится гораздо тяжелее, чем ему. Самого Гришу кишечная атмосфера не трогала, она ему даже нравилась. Он огляделся по сторонам и на минуту задумался — а правда, не остаться ли здесь пожить? Но потом вспомнил желудок, жуткие морды фагоцитов и решил, что нет, никогда. «Вот выберемся с Пал Ивановичем, найдем яблоко... — мечтал он. — Зеленое, большое... Хорошо бы дикое где-нибудь в лесу, на высокой ветке, чтоб его организм не съел... И заживем...»

Тоннель вдруг снова расширился.

— Слепая кишка, — мрачно сказал Пал Иванович.

— А почему она слепая?

— А кто ж ее знает? Тут ослепнешь. Чувствуешь атмосферу-то? Сейчас в самые массы и попадем. Ты зажми нос.

— Да нет у меня носа, Пал Иванович!

— Эх, все-таки хорошо вам, микробам...

Течение замедлялось, тоннель быстро заполнялся вязкой материей. Дышать было нечем. Пал Иванович все тяжелее

втягивал воздух и в конце концов стал задыхаться. Гриша чувствовал, как напрягаются кольца старого червяка, как все дрожит у него внутри. Грише стало страшно и обидно за учителя. Пережить конец света, потоп, ураганные ветры, отравляющие газы, землетрясение, адскую мясорубку желудка — и утонуть в фекальных массах? Какая судьба! И это судьба того, кто пять раз проходил через весь организм, кто прошел самого слона! Гриша чуть не плакал, глядя на своего друга, его мембрана едва не разрывалась от жалости.

— Держитесь, Пал Иванович! Я с вами!

И в этот момент раздался взрыв, и в конце тоннеля блеснул яркий свет.

— Жопа! Жопа! — вскричал Пал Иванович.

В Гришином лексиконе не было такого слова. Но он сразу понял: это слово значило «свобода». Так кричали древние воины, завидев море после долгого перехода по пустыне: «Таласса, таласса!» А матросы Колумба, намучившись в морях, тоже кричали, только наоборот: «Земля, земля!»

Воздушная струя понесла их на волю. Помятые, уставшие, но не побежденные и не переваренные, они были выброшены из кишечника навстречу новой жизни.

арычъ
Нора





итя Барсук был поэтом...

Но до чего все-таки обманчивы все эти слова: «поэт», «писатель», «писать» и им подобные. Скажешь «писатель» и сразу видишь человека (а кстати, почему именно человека? есть много книг, написанных не иначе, как барсуками), который сидит за письменным столом, украшенным стаканом чая. Это писатель. Будучи писателем, он занят процессом письма. Он выписывает письменными принадлежностями письмена на писчей бумаге. Работает не отрываясь, иногда только морщит лоб, подносит к нему перо и задумывается. Закончив поэму или там сказку, отхлебывает остывшего чая. Потом перечитывает манускрипт и начинает переписывать набело.

Все в этой картинке неправда. На самом деле писатель, даже если он человек, не столько пишет, сколько мечется по своей

норе, как сумасшедший барсук, и при этом бормочет себе под нос очень странные слова. Все писатели — скрытые барсуки. А поэты — явные, самые настоящие.

Поэт Митя был настоящий барсук.

Будучи настоящим, с хорошей родословной, барсуком, он всю жизнь прожил на одном месте. Meles-meles, как называли эту славную полосатую зверюшку древнеримские барсуковеды, вообще самый оседлый народ. Многие барсучьи города возникли тысячи лет назад, и нынешнее поколение их жителей возлежит все в тех же комфортабельных норах, что и их предки, современники Будды. А отчего бы им не возлежать? Врагов среди зверей у них почти нет, а царь природы — человек с ружьем — при слове «барсук» только кривит свой мужественный рот. И его можно понять: барсук, двоюродный дядя скунса, имеет с тыла такие две железы, от которых трудно не скривиться. И если бы не вредный предрассудок насчет барсучьего сала, которое якобы помогает при болезнях легких, да не подлый обычай чистить сапоги щетками из барсучьего меха, то мелеса-мелеса все бы давно оставили в покое.

Митя родился и вырос в одном из древних барсучьих городов, на берегу живописного озера. От родителей он унаследовал прекрасную квартиру — трехкомнатную, с пятью выходами, на третьем подземном этаже, в весьма престижном районе под столетним дубом. Правда, для писателя такая оседлость была не слишком благоприятна — жизнь Митя знал очень избирательно. Но он не переживал: вдохновение, говаривал он, и еще раз вдохновение. И, поднявши глаза к дубу, шмыгал своим чувствительным носом.

В квартире Митя проводил весь день, выходя за едой только после захода солнца. Тут надо сказать, что он был

вегетарианцем. Мышей не ел, птиц только слушал по вечерам, подперев щеку лапой, а на лягушек даже смотреть не мог от жалости. Древний барсучий обычай — похвальба на рассвете, кто сколько за ночь сожрал лягушек — вызывал у него искреннее негодование.

— Сядут на толстые зады, — возмущенно говорил он очередной жене, — и давай: «А я двадцать! А я сто!» Живоглоты! Тупицы! Но придет наше с тобой время! Взойдет заря новой жизни! Скоро все поймут истину безубойного питания!

— Да ты бы не мучился так, Митечка, — вздыхала жена. — Пусть их жрут, что хотят. Ты у меня такой славненький...

Сам Митя с юных лет предпочитал фрукты, грибы и орехи. И зад у него поэтому был совсем не толстый, а очень аккуратный, с приятным белым хвостиком. Этот хвостик очень нравился девушкам.

— Какой у вас сзади эротичный предмет, — говорили девушки.

— Ну что вы, право, — смущался Митя, — предмет как предмет.

Брак — самое сложное дело в жизни барсука. Барсуки моногамны, и редкий барсук бывает счастлив в семейной жизни.

Со своей первой женой Митя познакомился на вечерней прогулке. Стоял ласковый май, то золотое для барсуков время, когда озерные лягушки совокупляются в прибрежных зарослях и еще не окрепшими голосами бурно выражают свои чувства. В тот вечер среди озерного населения царило подлинное единство. Послушать лягушек собрались не только местные меломаны — барсуки, лисицы и выдры — но прибыли и редкие гости: целая делегация сычей, два аиста, и даже явился один кот домашний, проживавший в человеческом поселке за двадцать километров от озера.

Однако Митю лягушачий джаз только раздражал, а вид собирания живоглотов навевал самый черный пессимизм. Он был голоден, печален и одинок. Найти пищу в это время года для него было совсем не просто, а перспективы исправления нравов лесных жителей казались совершенно бесперспективными.

Митя уселся на свой замечательный хвостик и пригрюнился, глядя в воду. Вода отразила юную морду со следами страданий у глаз и стройное пушистое тело серовато-коричневого оттенка.

И тут появилась она. Она была совершенно восхитительна: миниатюрна, молода, миловидна. Хотя, пожалуй, несколько приземиста. Шла она с большой кошелкой.

— Ой, я вам не помешаю?

— Ну что вы, что вы... — отвечал Митя церемонно.

— А я тут прошлогоднюю бруснику собираю. Люблю очень сладкое. Хотите?

— Спасибо, с удовольствием.

— А вы так романтично грустите. А чего вы на концерт не пошли?

Митю передернуло.

— Потому что поедать живых существ — все равно, что есть самого себя! Потому что мир рушится от живоглотства! Потому что всем пора понять, что у мясоедания нет будущего! Потому что я барсук, понимаете, барсук! Мелес-мелес!

— Ой, как вы здорово говорите. А как вас зовут?

— Дмитрий.

— Дмитрий... Как романтично... А я — Мила. Просто Мила.

Вскоре они поженились.

Вдохновение накатило на Митю через месяц после свадьбы. Однажды утром Мила проснулась от странных звуков

и увидела, что муж мечется по комнате. Он тыкался носом в дальний правый угол, разворачивался, бежал в левый ближний, тыкался носом туда и несся обратно. При этом он выкрикивал очень странные слова:

— Мелес-мелес, умеешь ли, мелес, услышать свой мелос? Мелос, мелодия мела зимой, когда метит метель тебя, мелес...

— Что ты мелешь? — в ужасе спросила Мила.

Митя резко затормозил посреди комнаты и посмотрел на нее без всякого выражения, как коза в кинокамеру.

— Милый, что с тобой?

— Не мешай! — заорал вдруг барсук. — Ты что, не видишь? Я сочиняю!

— Ты писатель?

— Нет! Я мелический поэт!

Таких слов Мила не знала. Она всхлипнула, схватила кошелку и выбежала из норы. Побродив часа два по лесу, она вернулась с ягодами и увидела, что все было по-прежнему: Митя бегал из угла в угол и бормотал.

Мила выдержала только полгода такой жизни. Поначалу она говорила себе: может, он гений — надо терпеть. Потом говорила: сволочь он, а не гений, но я же его люблю — надо терпеть. Потом: я его не люблю, эту сволочь, но вдруг будут дети — надо терпеть. А Митя все бегал и бегал по комнате, и наконец настал день, когда Мила спросила себя: а надо ли терпеть?

— А надо ли терпеть? — спросила она вслух.

— Что? — остановился Митя.

— Ты погубил мою жизнь! — закричала Мила.

— Мещанка! — отвечал барсук.

Мила зарыдала в голос. Митя попытался продолжить процесс письма, но ничего не выходило — после каждой его пробежки рыдания Милы нарастали. Тогда он угрюмо сел в самом дальнем от жены углу и прислушался к ее горьким словам.

— ...как брошенная, — причитала Мила. — Ни ласкового слова, ничего. Целый день: «мелес, мелес», а ведь я сирота. И жрать с ним грибы эти. Я мяса хочу! Гад! Собака норная!

Митя слушал, пытаясь сдерживать свои порывистые чувства. Но терпения хватило ненадолго: в какой-то момент он заметил, что его короткие сильные лапы вдруг сами собой начали скрести земляной пол. «Что со мной?» — испугался Митя. Но тут же догадался: «Да я же рою новую нору!»

Через день нора ниже этажом была готова. Она, конечно, не шла ни в какое сравнение с родовым гнездом: комната была одна, а выходов — только два, но Митя был доволен — здесь никто не мешал ему заниматься любимым делом. Правда, разбег был поменьше, и потому строчки получались короче, но это ему даже понравилось:

— Я вхожу в новый период, — решил он. — Назову его «Камерная мелика».

Кроме малых габаритов, в новой квартире было еще одно неудобство: в потолке оставался выход в прежнюю жизнь, и иногда Мила, движимая женским состраданием, просовывала морду к Мите и озабоченно спрашивала:

— Ты не проголодался?

Но Митя, у которого вдохновение теперь не проходило никогда, сразу начинал истошно орать, и Мила поспешно исчезала. Постепенно она смирилась с потерей мужа и перестала появляться на его территории. Только иногда сверху падали яблоки и сушеные грибы. Барсук поглощал их автоматически, не интересуясь, откуда они взялись и что значат.

Так длилось долго, до тех пор, пока однажды ночью Митя вдруг не почувствовал адский голод. Он остановился, оглядел грязную нору и обнаружил, что еда сыпаться перестала, и, видимо, давно.

Он поднял морду вверх и прислушался. Милы было не слышно. Зато в тишине отчетливо прозвучал мужской голос:

— А вчера пятьдесят сожрал!

«Уже утро, — понял барсук. — И она вышла замуж».

Митя высунул нос в прежнюю жизнь и огляделся. Открывшаяся ему картина оказалась настолько невыносима, что он чуть не свалился вниз. На его любимом ковре из зеленого мха живописно раскинулся толстозадый живоглот по прозвищу Приходил. Скотина ковыряла в зубах лягушачьей лапкой.

Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Потом Приходил сплюнул лапку на ковер и лениво сказал:

— Ну.

Митя почувствовал, как закипает его благородная кровь.

— Это моя квартира! — категорически заявил он.

— А еще чего? — лениво спросил узурпатор.

— Тут жили мои предки тысячу двести лет!

— Да? А попрыгать?

Митя опешил. Кровь звала в бой, но разум приводил весьма увесистый аргумент против: необъятный зад конкурента. Силы были явно неравные.

Внутренняя борьба длилась недолго, а внешней Митя как-то даже не заметил. Он просто очнулся на полу ниже этажом и еще успел услышать слова победителя:

— И не дай бог твое рыло...

Но что именно не дай бог рыло, Митя так не узнал, потому что толстозадый завалил ход в квартиру бывшего мужа здоровенным камнем.

«Ну и ладно, — подумал Митя. — Завалил так завалил. Завалил меня барсук. Барсук, как барс... Как барс... Барсук...».

Но слова не шли. Поэтические озарения стремительно убегали в оба оставшихся выхода, а на их место вползали

черные мысли. Митя вдруг заметил свое одиночество, неприбранную нору и впервые подумал, что молодость, наверное, прошла.

Он вылез наружу и пошел к озеру. Подступала осень, и столетний дуб уже начал свое желтое дело. Митя сел на том же месте, где когда-то встретил Милу, и заглянул в воду. Вода отразила грустную средних лет морду и отяжелевшее сероватое тело. Лягушки молчали, было тихо.

И тут появилась она. Она была восхитительна: совсем юная и юркая, как юрок. Хотя, пожалуй, несколько приземистая. Шла она с небольшой кошелкой.

— Ой, я вам не помешаю?

— Мне нельзя помешать, я ничего не делаю, — рассеянно отвечал Митя.

— А я тут грибы собираю. Люблю их очень.

— Правильно. Хочешь мяса — сорви гриб, — привычно поддержал барсук. Он говорил, но не слышал сам себя.

— Так я уже сорвала. Хотите?

От этих слов Митя вдруг почувствовал резь в животе. Он схватил самый большой гриб, жадно впился в него зубами, но тут же выплюнул. Это была зеленая поганка.

— Ой! — сказала она. — Вечно я путаю. Никак не могу запомнить, какие хорошие, а какие нехорошие.

— Я тебя научу, — сказал Митя.

— Правда? Вот здорово! А как вас зовут?

— Дмитрий.

— Дмитрий... Как здорово! А я Юля. Можно Юлечка.

Через неделю они поженились, через две недели Митю посетило вдохновение, а через три он услышал тихий плач.

— Я так больше не могу, — всхлипывала Юлечка. — Ты губишь мою молодую жизнь!

— Почему?

— Потому что я хочу жить! Я хочу гулять по берегу озера, собирать грибы и ягоды, слушать лягушек, играть в попрыгушки. И все это вместе с тобой, любимый! И еще я очень хочу мяса.

Митя уже где-то слышал эти слова. Он почувствовал укол совести. И от этого укола его короткие, все еще сильные лапы вдруг сами собой начали скрести земляной пол.

Третья квартира оказалась еще меньше второй и всего с одним выходом, но Мите было уже все равно: он теперь совершенно пренебрегал бытовыми удобствами. С потолка, как и в прошлой жизни, иногда сыпались грибы и кедровые орехи, но среди грибов попадалось много поганных: все-таки Юля была неопытна по хозяйственной части. От поганных грибов Митин стиль приобрел новую высоту. Свой третий период он назвал так: «Мелика Тонкого Мира».

Тонкий мир чудился ему огромным парком, полным разных зверей. Это был настоящий рай беззубойного питания: тут никто никого не ел, даже не пытался. Все жили в отдельных квартирах и непрерывно бормотали, подвывали, подскуливали. А Митин голос легко и свободно вливался в общий хор. Вот только почему-то увидеть этих зверей Мите никогда не удавалось. Он только слышал их голоса, а видел всегда одно и то же: сетку с очень маленькими ячейками и за ней кусок зеленой стены. Станный это был мир.

Из этого странного мира, откуда он не вылезал по целым неделям, как-то сама собой явилась третья жена. Ее звали Ядвига-Элеонора, и она была причастна к искусству.

Откуда она все-таки взялась, Митя так и не понял. Просто однажды, съев гриб, именуемый в народе навозной лысиной, он вошел в тонкий мир и обнаружил там ее. Она сидела посреди его норы и смотрела горящими глазами куда-то вдаль —

сквозь Митю, сквозь сетку, может быть, даже сквозь зеленую стену. Она была не слишком молода, не чересчур миловидна, далеко не миниатюрна, но в ней чувствовалась такая духовная сила, что Митю сразу потянуло к ней, словно магнитом. Он почувствовал себя рядом с ней каким-то приземистым.

— Я вам не помешаю? — робко спросил он.

Ее зрачки чуть сузились.

— Уже помешал. Ты помешал творчеству!

— Я помешал? Вы — сочиняете? Стихи сочиняете? А... прочитайте! Пожалуйста!

Незнакомка оторвала глаза от Мити, перевела их вдаль, потом свела зрачки поближе к носу и вдруг вся как-то забурлила, закипела изнутри:

— Мелес, мелес юбер аллес, мелес мене текел фарес... — выводила она натужным голосом.

Митя не верил своим ушам.

— Так это же мои стихи! Мелика тонкого мира!

— А где ты, по-твоему, находишься?

— В тонком мире?

— Ну да.

— А вы кто?

— Я — это я. Ядвига-Элеонора.

— Ты мое второе «я», не исчезай! — завопил барсук.

Ему хотелось сказать очень многое: что мир ловит его в свои сети, что он одинок, что за всю жизнь он не нашел никого, кто бы его понимал. Но язык не слушался.

— А ну-ка прочитай сам что-нибудь! — приказала Ядвига.

Митя ошарашенно посмотрел на нее, потом попытался свести глаза к носу. Это у него не получилось, и тогда он просто закрыл их и прислушался к себе. Внутри стояла мертвая тишина, изредка прерываемая кваканьем лягушек.

— Я ничего не помню, — испуганно сказал он. — Я почему-то все сразу забыл.

— Хорошо, я помогу тебе. Я останусь с тобой.

И действительно: когда Митя очнулся, Ядвига, как ни странно, сидела посреди его норы и смотрела невидящими глазами в сторону последнего выхода. Они стали жить вместе.

Поначалу вдохновение посещало поэтический союз в разное время, и они относились к творчеству второго «я» с полным пониманием. Но однажды их озарило одновременно, и это оказалось крайне неудобно. Они бегали каждый по своей диагонали и все время сшибались мокрыми и холодными носами. Но дело было совсем не в носах. Просто сочинять в условиях, когда рядом кто-то бегают, топает и бормочет, оказалось совершенно невозможно. Сами того не желая, они подхватывали на бегу друг у друга целые строчки, и эти строчки потом всегда оказывались самыми худшими. Митя мучился, вздыхал и даже тайком вспоминал непричастных к искусству бывших жен.

Бытовые неудобства быстро перерастали в споры об искусстве.

— Твоя мелика не мелична, а только мелодична, — говорила Ядвига.

— На себя посмотри, — огрызался Митя.

Диета последних лет изменила его характер: он стал груб и раздражителен.

— Но как же так? Ведь ты называл меня своим вторым «я»?! — возглашала она.

— Дурак был. Вторых «я» не бывает. У барсуков не бывает вторых «я».

— А что бывает у барсуков?

— Жены бывают.

— Я тоже ошиблась в тебе, Димитрий, — помолчав, сказала Ядвига. — Ты не гений.

— На себя посмотри, — бубнил барсук.

— Ты не гений. И тебе нужны новые источники вдохновения. Пора кончать с грибным образом жизни. Почему бы тебе не сходить на охоту?

Митя вздрогнул и замер, уставившись на нее. Он вглядывался в ее пустые блестящие глаза и чувствовал, как его ослабевшие лапы начинают сами собой скрести земляной пол. Митя напряг все силы, но вместо мягкой земли когти вдруг уперлись в гранитную плиту. Копать дальше было некуда.

Перед ним был последний выход. Он с трудом протиснулся в него и побрел к озеру. Недавно выпал первый снег, всходило солнце. Митя подошел к воде.

Вода отразила грустную старую морду, совершенно белую, и белое, бесформенное тело. Жизнь таяла на глазах, не оставалось ни надежд, ни стихов, но почему-то казалось, что самое главное — тот рай, что так часто снился ему — все еще впереди.

Но главное было сзади. Два человеческих рыболова, стоя у него за спиной, уже давно с удивлением разглядывали белого барсука, а Митин нос, раньше такой чувствительный, их совсем не чуял.

— погоди, не бей! Смотри, он белый весь: альбинос!

— Да какой к хренам альбинос? Старый зверь, вот и все. Вишь, не чует — глухой совсем.

— Говорю тебе — альбинос. Михалыч, а давай его заловим, а?

— Да на хрена он кому нужен?

— А в зоопарк. Альбинос же! Бабки дадут.

— В зоопарк, говоришь? Ну, кидай, там посмотрим. Ты кидай, а я его бутылкой по башке все-таки огрею.

И Митю накрыла сеть.

Он дернулся, ухватился за нее когтями, рванул на себя, но в тот же миг почувствовал страшный удар, и белый снег перед его глазами сразу стал черным.

Митя еще не совсем очнулся, а в ушах у него уже зазвучали и стали стремительно нарастать волшебные звуки его любимых снов. Десятки звериных голосов бормотали, подвывали, подскуливали, повторяя свои имена и прозвища, и Митин внутренний голос радостно, словно пробудившись от долгой зимней спячки, вливался в общий хор.

Он открыл глаза. Как всегда в тонком мире, перед ним была сетка с очень маленькими ячейками, а за ней виднелся кусок зеленой стены.

— Ядвига! — позвал он.

Никто не откликнулся.

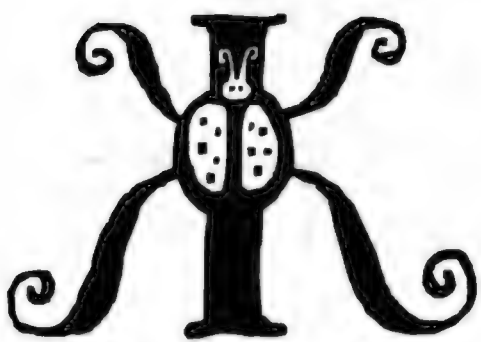
Митя оглянулся и увидел, что он здесь совершенно один. Он встал, неуверенно прошелся из угла в угол по норе, ставшей теперь совсем крошечной, потыкался носом в сетку, стены, пол, потолок. Все они оказались очень крепкими. Они были твердые и холодные, как гранитная плита в последней квартире. Митя огляделся по сторонам еще раз и вдруг сел на пол, разом все поняв.

Выхода в этой норе совсем не было.

И радость вдруг заволновалась в его груди. Теперь никто в мире не мог ему помешать! Митя легко вздохнул и поднял морду вверх — уже уверенный, что сейчас снизойдет озарение. Он немного посидел так, а потом вскочил на лапы, ставшие вдруг сильными и упругими, как в молодости, и быстро побежал по привычному маршруту — из дальнего правого угла в левый ближний и обратно.

— Смело, о мелес, мели в подземелье своем... Время мелеет, и все перемелется в нем...





Жизнь имеет смысл, только если человек лежит в траве и смотрит в небо. Желательно, чтобы это было на берегу реки. Также желательно иметь в зубах травинку.

В одном городе был белый собор. Он стоял на самом берегу, высоко на холме, в окружении приземистых старинных построек желтого цвета. Разговаривать с этими классическими старцами собору было не о чем: они только и делали, что вспоминали те времена, когда выше них в городе никого не было, да ругали собак и машины, от которых становились все желтее и желтее. Поэтому собор беседовал с облаками. А облака в этом городе были особенные: мощно-кучевые, белые и огромные. Они громоздились до самого неба, а их слои и струи слоились и струились, принимая удивительные формы.

Правда, формы эти быстро менялись — а вместе с ними и характеры облаков.

— Доброе утро! — обращался только что проснувшийся собор к добродушному носатому фламандцу, наплывавшему на него со стороны восхода.

— Добрейшее! — хохотал фламандец, распахивая толстенные ручки для объятий. — Душ, душ, душ, и никакие протесты не принимаются!

— Конечно, конечно, самое время, — охотно соглашался собор.

— Как славно жить в мире и помогать друг другу! — радовался фламандец, пуская первую струю.

— Да чем же я-то вам помогаю?

— А вы думаете, легко таскать по небу такое брюхо? А теперь оно меньше, меньше, меньше...

Собор еле успевал отфыркнуться всеми водосточными трубами, а никакого фламандца уже и в помине не было. На его месте болтался тощий джинн с узкой головой, словно только что выпущенный из бутылки кока-колы.

— Так. Выполняю желания в течение трех секунд! — объявлял джинн. — Думать некогда, быстренько решайте, что вам нужно от жизни! Время пошло. Раз...

Вопрос был серьезный, и собор все-таки морщил купол в задумчивости, а тем временем джинн, закинув бороду за плечо, превращался в небольшого ангела в хитоне.

— Тяжело вам, наверное, все на одном месте стоять? — сочувствовал ангел.

— Да уж, не весело, — вздыхал собор. — Но зато есть, знаете ли, некоторая стабильность...

Кому это он говорит о стабильности? Ангел давно исчез, и на его месте чистое небо.

«И вот так, — думал собор, — будет всю жизнь. Ни одного друга, только случайные знакомые. Сколько их уже было! Мне и половины не упомнить. А как бы мне хотелось иметь постоянного собеседника... Вот взять фабричные трубы: у них есть свой, постоянный дым. Грязный, удушливый, безусловно вредный, но свой. Почти семья. А у меня никого нет и никогда не будет, один только звон».

И собор вздыхал так тяжело, что его колокола вздрагивали и начинали гудеть, а люди, слыша это, принимались сочувственно втекать ему внутрь.

«Ну что ж, пора за дело», — думал собор. Он любил свою несложную работу: открывать и закрывать двери, запускать гулкое эхо при песнопениях и осторожно подпевать органу. Слух у него был абсолютный, но голос тяжеловатый.

В пять вечера над ним пролетал самолет.

— Ну, как там, в Бомбее? — интересовался собор.

— Забомбеить бы его, — каламбурил старый боинг. — Жарко, душно и ни одной родной души.

— Устал?

— Устал. В ангар бы поскорее. И маслица мне, маслица...

— Слушай, а это трудно — летать?

— Летать не трудно, а скучно. Особенно если внизу ни черта не видно. Но ты, браток, извини, спешу я, завтра поболтаем, ладно?

— Ну пока, пока.

Поздно вечером его закрывали и оставляли наедине с грустными мыслями. Он никак не мог заснуть и считал в небе молчаливых слонов почти до самого утра. А зимой и вовсе было не с кем поговорить, потому что облачность становилась тяжелой, густой и бесформенной, как на Юпитере. Собор принимался

перебирать прошлое, но и оно было туманным. С трудом вспоминалось, как его строили, как освящали. А потом потянулась долгая череда дней, заполненных службой и беседами с мимо-летними облаками. За всю свою жизнь он мог припомнить не больше десятка особенных дней: редкие северные сияния, несколько рок-концертов на площади да еще жемчужно-голубые светящиеся облака, которые за сто лет жизни ему довелось видеть всего три раза.

Желтые старцы его ругали:

— Ты, брат, витаешь в облаках. Ты, брат, предаешься несбыточным мечтам, не замечая окружающие тебя культурные ценности. Не соборное это дело, несерьезное, не тем у тебя купол занят. Все к тебе с уважением относятся, иностранцы приезжают на нас с тобой посмотреть.

— Беседовать с облаками — самое серьезное дело, — возражал собор.

— Это еще почему?

— Да потому что мы с вами вечные, а у них каждая минута последняя. Им тоже поговорить хочется.

— Он совсем свихнулся, — вздыхали старцы. — С мерзлым паром разговаривает.

— Да пошли вы все! — сердился, наконец, собор. — Наплевать мне на вас с четырех колоколен!

— Эх, ты! А еще кафедральный. Ты бы о боге подумал!

На это собор ничего не отвечал. Отношения с богом у него были сложные. С одной стороны, кафедральное положение, конечно, обязывало верить. А с другой — в небе все так быстро менялось, что собор чувствовал: никакому богу там все равно не удержаться. Поэтому, чтобы не запутаться, он предпочитал совсем не думать о вечном. Его купол был заполнен только

воздухом и светом, и лишь изредка туда залетала какая-нибудь шальная ласточка и проносилась быстро, как мысль, от окна к окну.

Но однажды осенью случилось нечто необычайное.

Накануне вечером он простудился. День был холодный, с самого утра дул пронзительный ветер, потом небо обложило и стал накрапывать дождь. Собору нездоровилось, у него поднялась температура, запотели стекла, заныли старые трещины, и ближе к ночи он стал бредить. Вся облачная жизнь пошла кувырком. То ему чудился профиль дамы в шляпке, и он кричал: «Мадам, подождите секундочку!» — но вместо мадам в небе, раскинув руки, падал безголовый актер. То усатый лопоухий дьявол с длинной шеей тащил за собой огромное туловище цвета гангрены. Пролетал самолет с отрывающимся хвостом, кричал: «Всех забомбею!» — но тут же исчезал, и на его месте еще долго тянулся хвост без самолета.

Ночь прошла без сна, а перед самым рассветом собор вдруг увидел, что с запада тяжело наползает гигантская черная туча — такая высокая, что, казалось, по ней можно было забраться на самую вершину неба. Что-то в этой туче казалось очень знакомым, хотя собор и понимал краем купола, что знакомых туч не бывает.

Туча подползала все ближе и ближе и, наконец, остановилась прямо над ним. Рта у нее не было, но где-то посередине было прорезано два длинных недобрых глаза. Сквозь прорези выглянула пара солнечных лучей, но, увидев, как внизу все серо, лучи переглянулись и спрятались обратно.

И тут собор вздрогнул. Он понял: туча в точности повторяла форму его, собора. Только он был белый, а она — совершенно черная. Он вспомнил, как одно облачко рассказывало ему,

что над озерами в жаркий день иногда висят облака точнехонько по форме озера.

«Наверное, я все еще брежу», — подумал собор, а потом спросил вслух:

— Ты кто?

В ответ туча громыхнула так, что у собора заложило трубы. С диким ором рванули вверх вороны, чернившие купол. Они неслись к туче, но на полпути вдруг чего-то испугались и так же внезапно всей стаей ринулись в сторону.

И тут полыхнуло огнем. Небо превратилось в собственный негатив, а озаренный собор почувствовал, что сейчас случится что-то непоправимое.

И действительно, в следующее мгновение он содрогнулся от страха всеми колоннами: прямо в его купол впилась молния. Она ударила и замерла: разряд длился и длился, а собор жадно впитывал его до тех пор, пока внутри у него не стал разгораться ответный пожар.

Одна за другой, как свечи, вспыхнули все четыре колокольни. От главного купола винтом уходил вверх густой черный дым, сливаясь с тучей. Туча росла на глазах и уже, казалось, накрыла весь город.

«Вот, — думал собор, разгораясь, — сейчас весь мой дым поднимется к туче, от меня ничего не останется, я сам стану тучей, я стану самой большой в мире тучей, а потом ударю с такой же силой о землю, прольюсь дождем, и так кончится моя жизнь».

С грохотом рушились перекрытия. Огонь перекидывался на желтых старцев, в городе разгорался ночной пожар. Люди внизу в панике носились взад-вперед, не зная, что делать. А потом рухнул купол.

Верховой ветер, который дует среди облаков, начал уносить гигантскую тучу в море. Не было видно ничего, кроме звездного неба наверху и темного моря внизу.

— Кто же я теперь? — думал бывший собор, ставший тучей. — На что я похож? Похожа? Похоже? Я не знаю.

Он с каждой секундой набирался электричества и становился грозовым. Им овладело чувство новой силы, и он жадно вбирал в себя попадавшуюся на пути мелкую облачную россыпь. Он чувствовал, как в нем копится заряд, зреет новая молния. И вдруг в один миг чернота вокруг стала ослепительно белой. Это была его первая молния. За ней последовала вторая, третья, потом еще. Поливая огнем и водой притихшее море, черная туча неслась, теряя себя, сама не зная куда.

* * *

Он очнулся над морем в ясном синем небе и, оглядев самого себя, понял, что от него осталось только небольшое облачко темно-серого цвета. Рядом маячило белое облако чуть побольше, похожее на ангела.

— Привет, заяц! — радостно приветствовал его ангел. — Нам по пути, да?

— А... где мы? Ой, не приближайтесь, пожалуйста, а то вы со мной сольетесь!

— Да я и не собираюсь. Больно надо! Что я, зайцем никогда не был, что ли?..

— Почему зайцем?

— Да потому что ты сейчас заяц серый, разве ты не чувствуешь?

Бывший собор прислушался к себе и обнаружил, что внутри у него все еще гнездится страх. Но он решил не подавать

виду: заяц так заяц — теперь ему было все равно, кто он такой.

— А где мы летим? — спросил он у ангела.

— Уже залив перелетели. Видишь шпили? Значит, город совсем близко. Я там еще никогда не был.

— А я тем более. Слушай, а ты знаешь, ты уже не ангел!

— Ну и ладно. Я теперь, должно быть, горный орел, — беззаботно отвечал бывший ангел. — То есть сейчас буду. А вот ты уже совсем ни на что не похож. Так, клякса серая. Боишься, что ли?

— Нет. То есть уже меньше боюсь, — отвечал бывший заяц, следя за тем, как на горизонте добродушный волк превращается в добродушного медведя. — А знаешь что? Поплыли вон к тому важному собору, поболтаем?

— Это еще зачем?

— Ну, так. Наверно, скучно старику.

— Ну, давай, — согласился временный орел. — Только ты форму прими какую-нибудь, а то смотреть противно. Да не бойся, это не больно.

— А я уже не боюсь. Сейчас попробую... Вот, например, толстый такой фламандец подойдет?

— Угу. Только тебе одному не потянуть. Тощий ты.

— А что делать?

— Сливаться надо.

— Ну, так давай!

* * *

В одном городе был островерхий собор. Он стоял на берегу залива, у самой воды, в окружении старинных построек желтого цвета. Разговаривать с этими старцами собору было не о чем, и потому он беседовал с облаками.

— Доброе утро! — обращался только что проснувшийся собор к добродушному носатому фламандцу, наплывавшему на него со стороны восхода.

— Добрейшее! — хохотал фламандец, распахивая толстенные ручки для объятий. — Душ, душ, душ, и никакие протесты не принимаются!





Иван Тургенев, самец береговой гориллы двадцати трех лет от роду, был в целом доволен своей жизнью.

Раннее детство Иван, у которого тогда не было никакого имени, помнил очень хорошо. Он вырос во влажных джунглях Габона, среди болот и папоротников, в старинной патриархальной семье. Семья состояла из большого папы с серебристой полосой на спине, который был строг, но справедлив, из двух плюгавых недопап без всякой полосы и из четырех мам, которые не всегда ладили друг с другом. Кроме того, у него было с десяток братьев и сестер. Рыжий Иван был среди них самым крупным, самым красивым и самым понятливым. Взрослые с утра до вечера добывали пищу, дети играли и учились добывать пищу. Все было ясно и просто: папу надо было слушаться всегда, недопап — часто, мам — по настроению. Язык состоял из двадцати звуков и сорока жестов.

На шестнадцатом году жизни наш герой стал догонять папу по росту, у него засеребрилась спина, зачесались кулаки, и на безоблачном небе семейной идиллии показались первые тучки. Поначалу они были почти незаметны: хотя недопапы иногда и почесывались после знакомства с мощными руками и острыми клыками Ивана, но в глазах главы семейства он неизменно оставался примерным и почтительным сыном. Будущее, несомненно, было за ним, как за сильнейшим, однако порывистый юноша не сумел дождаться своего часа и слишком рано заявил свои права. Однажды во время дождя он указал папе пальцем, какой именно сухой уголок тому следует занять в их общем убежище. Большой папа, внимательно поглядев сыну в глаза, встал перед семьей в гордую позу, трижды размеренно ударил себя кулаком в грудь, а потом развернулся — и погнал наследника пинками под тропический ливень.

Блудный сын ушел гордо, не оглядываясь, уверенный, что сумеет найти свое место в жизни. Недопапы улюлюкали вслед, братья и сестры скулили, мамы плакали. Пришло время странствий.

Но продлилось оно совсем недолго. Жизнь на свободе оказалась не по силам неопытному, хотя и не по годам крепкому подростку. Побродив в одиночестве недели две по непроходимым лесам и болотам, он отощал, одичал и в конце концов был вынужден сдаться сотрудникам организации «Консервация дикой жизни», миссию которой на берегу океана все габонские гориллы отлично знали и даже обозначали на своем языке весьма выразительным жестом.

Его посадили на корабль и повезли — сначала в холодную страну, где солнце было похоже на луну, затем в холодную страну, где с неба падали белые хлопья, а потом в холодную страну, где солнце было похоже на луну, с неба падали белые

хлопья, а все люди носили зимние шапки, похожие на прическу пожилой гориллы. Посреди этой страны стояла тесная клетка, клетку окружал зоопарк, а зоопарк окружал город Москва.

Тут он получил свое первое имя. Его называли Биллом — в честь сексуально активного президента заокеанской державы, хотя сам новоявленный Билл еще ничего не знал ни об Америке, ни о президентах, ни даже о сексе — у него не было ни телевизора, ни подружки. Все кругом было смутно и неясно. Поначалу он довольно плохо понимал разговорный русский язык, на котором изъяснялся служитель Вавила, а также охранники и посетители зоопарка — а люди и вовсе не понимали его звуков и жестов.

У посетителей он неизменно вызывал какое-то детское восхищение. Каждый день ему приходилось слышать слова «вомужик», «грузин» и «шварценеггер», так что он даже стал считать эти слова своими именами, тем более что Биллом его так никто ни разу и не назвал. Попадались среди посетителей и те, кто хотел его подразнить и даже обидеть. Но наш герой был добродушен и кроток, как, в сущности, добродушны и по-детски кротки все гориллы — правда, только до тех пор пока злой человек не поглядит им в глаза. К счастью для обеих сторон, заглянуть Биллу в глаза было непросто: людей в зоопарке держали строго за барьером, а между барьером и клеткой, спиной к посетителям, обычно сидел Вавила.

* * *

Вавила был студентом биофака, отчисленным с третьего курса за «художества» — так было сказано в официальном документе. Впрочем, Вавилины художества начались гораздо раньше, чем обучение зоологии, почти с самого рождения. Он был

художником от природы, хотя никогда не рисовал, не лепил и не водил смычком. Это была идеальная русская натура — из тех лохматых сероглазых людей, которым не надо миллионов, а надо хоть что-то улучшить в этом мире: человеческую породу или, на худой конец, породу меньших братьев. Правда, поколение последних жертв социализма, к которому принадлежал Вавила, уже не верило в возможность переделки человека человеком, и потому художественные интересы будущего зрителя никогда не выходили за пределы животного мира.

В детстве он мечтал стать дрессировщиком и воплощал свою мечту всеми доступными ему средствами. Он часами следил за рыбками в аквариуме, пытаясь понять их язык, а черепаху почти научил писать картины сливочным маслом. Повзрослев, он всерьез взялся за представителей высших видов. Учился Вавила на вечернем, а днем работал в дельфинарии и все рабочее время посвящал обучению дельфинов русскому языку. Он уже достиг весьма значительных успехов, но курс показался его ученикам слишком интенсивным. Как только у дельфинов набрался достаточный словарный запас, они пожаловались на Вавилу дирекции. Этот случай и стал тем последним художеством, за которое его выставили из университета.

Оказавшись не у дел, Вавила решил искать счастья вдали от цивилизации, в дикой природе. Он уехал на Памир и бродил там года два по горам в надежде выследить снежного человека. Полудикая бродячая жизнь сделала его таким странным и нелюдимым, что местные жители несколько раз принимали самого Вавилу за таинственного йети и устраивали на него охоту. В Москву он вернулся совсем грустным. Сумел ли он установить контакт со снежным человеком и что тот ему сказал — этого никто так и не узнал, потому что с обычными людьми Вавила теперь говорил редко, только

по необходимости. В Москве он устроился в зоопарк и попросился к обезьянам.

После предательства дельфинов обезьяны оставались последней надеждой Вавилы. Но поступившее в его распоряжение семейство бабуинов оказалось склочным, бездарным и к тому же склонным к мелким пакостям. Прочие же приматы активно жили собственной жизнью и не обращали на Вавилины художества ни малейшего внимания. Вавила совсем отчаялся. Он подумывал уже о том, чтобы уволиться из зоопарка и податься в леса — но тут появился Билл.

На третий день знакомства, задавая корм и поливая клетку из шланга, смотритель случайно заглянул горилле в глаза. Встретив его взгляд, Билл вдруг встал на задние лапы, выгнув спину и три раза размеренно ударил себя кулаком в грудь. При этом он издавал протяжные заунывные звуки. Вавила прислушался. Звуков и жестов он не понимал, но общий смысл угадывался довольно ясно: примат пытался рассказать ему о своей жизни. И тут Вавилу осенило. Он как бы воочию увидел африканское болото, ненастный день и большого папу, изгоняющего восставшего сына. Вавила закрепил шланг на потолке клетки, имитируя дождь, встал в позу папы и повторил содержание речи Билла при помощи пантомимы. Увидев, что он понят, Билл сел на пол и заплакал.

У Вавилы закружилась голова. Все стало ясно: перед ним был настоящий талант, он нашел, наконец, ученика, которого искал всю жизнь. Впереди блеснул свет, появилась возможность хоть чуть-чуть улучшить Божие творенье. На следующий день смотритель установил перед клеткой Билла складной стул и приступил к первому уроку языка жестов.



— Вот ты сладенького хочешь, — бормотал Вавила как бы про себя. — Так попроси по-людски. Ну, смотри на меня. Правую лапу сгибаешь в локте. Да не так, на меня смотри! Левую убери вообще. Слегка сгибаешь. Во. Ладонь вверх, лодочкой. Лодочкой, тебе говорят, чтоб положить можно было чего-нибудь. Во. Корпус согни немного, морду опусти. Да не скалься ты, как мандрил, люди этого не любят! Главное — скорбное выражение. Ну, представь, что ты там у себя в Африке на ежа сел. Во! Вот такое лицо. Опа, лови банан! И поклонись дающему. Умница!

— Вот ты опять вкусного хочешь, а не дают, — бормотал он на следующий день. — И не дадут, задолбали тут всем попрошайки, полный зоопарк вас таких сидит. А ты учись дальше. Левую руку протяни, как правую вчера. Да лодочкой, лодочкой! Во. Теперь правой бей себя по лбу! Да не сильно ты, дурило, слегка. Во. Теперь в живот. Дык. Теперь по плечу по правому. Да по правому я тебе говорю, ты ж не католик у нас! На меня смотри. Теперь по левому. Дык. А теперь еще раз все вместе и быстро. И еще быстрее! Опа, лови банан! Умница! Кланяйся! Молодчинушка ты моя! А теперь облизнись от удовольствия! У-ти, умничка какой!

— Вот он тебя шварценеггером назвал, а тебе до него не добратся, — бормотал Вавила на пятый день. — А ты ему русский кукиш. Ну, смотри на меня. Пальцы загни вот так. Вот, а теперь большой сюда сувай. Понимаю, что трудно. Надо, милый, надо. Ну, еще! Во. А теперь тычь ему, тычь! Умничка моя! И крути, крути лапой! Талант! Талант!



Через неделю Билл научился показывать нос, через две — крутить пальцем у виска, через месяц — пожимать плечами. Через

полгода он умел почти все. Он мог сурово погрозить пальцем, с сомнением почесать в затылке, неодобрительно покачать головой, весело махнуть рукой на прощание. Он даже научился показывать рот-фронт и чебурашку.

Большие сложности вызвал жест «сделать круглые глаза», потому что глаза у Билла были и без того круглые, да еще упрятанные глубоко под лоб. Зато очень легко он усвоил жест «хрен тебе», который, как оказалось, полностью совпадал с жестом родного Биллу языка. Будь Вавила лингвистом, это вызвало бы у него ученые раздумья: пришел ли этот жест в Россию от горилл прямым путем, или по дороге нашлись посредники? Но Вавила лингвистом не был.

Билл привязался к Вавиле. По утрам он приветствовал его радостным урчанием и сразу начинал бурно жестикулировать, пытаясь показать, что он видел во сне: папу, Вавилу, дальние страны или тупого соседа-бабуина. Вавила выслушивал все до конца, молча кивал, а потом садился на стул и приступал к новому уроку.

Поскольку смотритель убедился, что Билл был кроток как агнец, иногда по вечерам он отпирал клетку и проводил для своего ученика экскурсию по зоопарку.

— Певчие птицы — они парами живут, — объяснял Вавила. — Один сезон вместе попоют — и разлетелись. Это ты еще поймешь когда-нибудь, бог даст. А вот смотри, кулики-плавунчики. У них папа один детей растит. Прикидываешь, да? Не то, что у вас или у нас. А вот ленивцы. Знаешь, почему их так зовут? А потому что они писают раз в неделю и при этом только всем коллективом...

Много интересного рассказывал Биллу ученый смотритель. Билл слушал, открыв рот от удивления: несмотря на свою солидную наружность, он оставался ребенком в душе.

Дни проходили незаметно, но по ночам, когда учитель уходил домой, Биллу становилось грустно и одиноко. Он думал о том, как велик мир, где живут чадолюбивые кулики-плавунчики и беззаботные ленивцы. Мир велик, загадочен и прекрасен, а ему суждено провести всю жизнь в тесной вонючей клетке по соседству с крикливым выводком похожих на недопап бабуинов. А ведь он был рожден свободным, и притом был в своей семье самым крупным, самым красивым и самым понятливым.

Шли месяцы, за ними плелись годы. Билл уже прожил в клетке бóльшую часть безрадостной юности, и, скорее всего, и впрямь просидел бы в ней до самой смерти — если бы не президентское имя. На двадцатом году его жизни российско-американские отношения вдруг обернулись антиамериканскими настроениями, и как раз в это время московское правительство нагрянуло в зоопарк с развлекательной инспекцией.

Стоя перед клеткой Билла, официальные лица произносили обычные для этого места слова, но дойдя до слова «шварценеггер», вдруг смолкли, переглянулись и о чем-то призадумались. Осведомившись у директора, как зовут гориллу, они задумались уже всерьез. Правительство так и ушло задумчивое, а на следующий день в зоопарк вдруг пришел приказ, навсегда изменивший жизнь нашего героя. Отцы города предписывали подарить гориллу по кличке Билл американскому городу-побратиму Иоланте, столице одного из благодатных и консервативных южных штатов. Политический жест был прост и циничен: дарители рассчитывали, что увидев мужские стати гориллы и сопоставив их с именем «Билл», заокеанцы раз и навсегда усвоят российское отношение к бомбежкам Югославии и их организатору.

И его снова посадили на корабль.



Прибыв на новое место, житель теперь уже трех континентов быстро понял, на каком из них надо было родиться. Американский закон ставит права животных гораздо выше прав посетителей зоопарков, и потому каждый млекопитающий член иолантского зоокоммьюнити получал в свое распоряжение ранчо размером с московский зоопарк. Ранчо было обнесено забором такой высоты, что заглянуть внутрь мог либо вставший на цыпочки баскетболист, либо же человек обычного роста, поднявшийся на ходули.

Человекообразные были на особом положении: помимо позвоночных и млекопитающих благ, им полагалась еще комфортабельная пещера с двумя спальнями, а также небольшой пруд с зеркальными карпами. В сторону карпов новый постоялец даже не взглянул, но зато войдя в спальню, он издал носом и губами звук, очень похожий на то особенное «вау», которое нормальный американец издает при виде гигантской пиццы. Хозяева широко улыбнулись гостю, гость повторил свой звук, и первый контакт между человеком и его образом был установлен.

Биллу американцы сразу понравились. Их квакающая речь навевала воспоминания о вечерах на габонских болотах. Царившая вокруг простота нравов ласкала душу. Седовласый спортивного вида директор зоопарка был очень похож на большого папу. Соседи с близлежащего ранчо оказались вполне приличными орангутангами. Не было только Вавилы, и первое время Билл сильно тосковал. Пару раз он даже всплакнул втихомолку.

Администрации зоопарка русский красавец тоже приглянулся. Он весил 262 килограмма, он был абсолютно здоров, он имел на голове косматую шапку рыжих волос, а по бокам

в целом добродушного лица — пару седоватых бакенов, как на имеющих легальное хождение портретах американских президентов. И, наконец, он не был агрессивен.

Самец береговой гориллы сидел у пруда с зеркальными карпами и приветливо улыбался поднятым над забором человеческим детенышам. Жизнь явно налаживалась.

Оставался только вопрос с именем, и этот вопрос причинял дирекции зоопарка серьезную головную боль. Отнять у Билла имя означало нарушить его права и нанести ему психологическую травму. Но оставить было еще хуже. Это значило оскорбить чувства множества честных людей, причем даже не столько президентов, сколько простых налогоплательщиков, на чьи деньги и существовал иолантский зоопарк. После долгих колебаний было решено так: имя оставить человеческое, но заменить его на русское.

Так он и получил имя «Иван» — в честь писателя-эколога Ивана Тургенева, жившего пару веков назад в России. Директор зоопарка профессор Пеппер Шворц, человек энциклопедических знаний, разыскал статью об этом парне в подшивке журнала «Нэйчер энд калчер» за позапрошлый год. Из статьи выяснилось, что Иван был русским, что его рост почти равнялся росту великого Шакила О'Нила, однако он пренебрег спортивной карьерой, потому что унаследовал семейное ранчо и умел писать. Рано расставшись со спортом, Иван все-таки издал «Записки спортсмена», в которых пропагандировал здоровый образ жизни, равенство людей всех рас и гуманное отношение к животным. Больше всего профессора Шворца поразило то, что Иван знал пятнадцать языков.

Иолантский Иван тоже был русским, отличался немалым ростом, ранчо у него теперь было не хуже, чем у Тургенева, а насчет умения писать и знания языков у профессора Шворца возникли особые планы.

— У него хорошие глаза, — сказал директор своему ассистенту Джей-А Дудкину. — Мне кажется, его можно научить языку жестов. Ты представляешь, какой поднимется шум, если русская горилла вдруг заговорит по-человечески?

— У всех русских хорошие глаза, пока они трезвые, — отвечал скептик Дудкин.

— Послушай, Джей-А, а не ты ли мне говорил, что ты родом из города Одессы, что в России? — поднял брови профессор Шворц.

— Да, я провел там детство, но я считаю себя американцем и по-русски уже ничего не помню.

— Думаю, тебе надо вспомнить, это может нам пригодиться. Нет, малыш, в этом парне что-то есть. Вот увидишь, мы сделаем из него человека и гражданина еще быстрее, чем из тебя.

— Послушай, Пепп, ты хочешь сказать, что горилла получит грин-карту или, бери выше, гражданство? Надеюсь, ты не собрался поменять законы этой страны?

— Вы плохо знаете закон, мистер Дудкин. В законе говорится о персоне, а персоной становится любой, кто сдаст экзамен. Флаг, гимн, конституция, права человека — и ты уже не горилла.

— О'кей, профессор, ты у нас доктор. Только не забудь, что вышло, когда ты подбил макак-резусов выбирать себе президента тайным голосованием.

— Не волнуйся, сынок. Я учусь на своих ошибках. Мы будем действовать в полном соответствии с последними достижениями приматологии. И начнем мы с социализации. Первым делом горилле следует понять, что с другими видами животных можно дружить. Это как раз то, чего не могут понять русские.



Первый шаг к очеловечиванию Ивана подсказала всё та же статья в журнале «Нэйчер энд калчер». В ней говорилось, что Иван Тургенев написал отличный рассказ о глухонемом парне с плантации. Этот славный русский великан так крепко подружился со спаниелем, что научился довольно внятно мычать его имя, причем спаниель не только шел на зов, но и пытался отвечать по-человечески. Дружба угнетенных вызвала ярость плантатора, и он заставил бедного парня утопить собаку. Рабы возмутились, и в России произошла гражданская война.

— Это гениально! — восклицал профессор Шворц. — Я уже вижу заголовки на первых полосах! «Межвидовая коммуникация — первый шаг к всеобщей демократии!» «Свободу слова для бессловесных!» Мы купим ему собаку. Лучше всего, если это будет рыжий карликовый терьер. Сходство в цвете и разница в размерах — это отлично смотрится по ящику. Как ты думаешь, Джей-А?

— Отлично, док, но только учти, что если Иван сожрет твоего терьера, то мы будем иметь процессы с лигой защиты прав животных, с организацией домохозяек, с придурками из группы прямого животного действия, с клубом любителей рыжих терьеров и еще с кучей всякого дерьма.

— Не сожрет. Я в него верю. У него хорошие глаза. И потом, гориллы травоядные, даже если они из России.

Терьер был куплен, назван Володья и поселен на ранчо у Ивана. Директор оказался прав: Иван не только не обижал его, но и сильно к нему привязался. Он оказался настолько благороден, что даже отдал Володье свою вторую спальню.

— Первый этап эксперимента по межвидовому общению прошел успешно! — торжественно объявил профессор Шворц

иолантским журналистам. — И мы уже приступаем ко второму этапу. Теперь надо предоставить Ивану доступ к современным средствам коммуникации, а также дать ему возможность взглянуть на себя со стороны. Вы сможете отслеживать события в реальном времени.

В тот же день в пещере Ивана установили телекамеру, а потом торжественно внесли компьютер, телефон и телевизор, настроенный на канал «Дискавери». Поначалу Иван отнесся к достижениям прогресса вполне благожелательно. Он потыкал пальцем в клавиатуру, почесал затылок телефонной трубкой, а затем уселся перед голубым экраном. Но увидев на экране гориллу, явно принадлежащую к разряду недопап, да еще в сопровождении двух самок, он вдруг впал в ярость, разнес всю технику вдребезги, а обломки утопил в пруду с карпами. Иван еще долго не мог успокоиться: левой рукой он колотил себя в грудь оторванной телефонной трубкой, а правой показывал висящей под потолком камере жест, который легко бы узнали большой папа или Вавила, окажись они здесь.

Камеру убрали, корреспондентов вежливо попросили удалиться, и дирекция приступила к совещанию.

— Ему явно не нравится видеть себя со стороны, — объяснял профессор Шворц Дудкину. — И ты знаешь, Джей-А, это очень хорошо. Так не ведут себя гориллы. Я догадываюсь, что так ведут себя русские интеллигенты. И это значит только одно: Иван недоволен собой и хочет стать лучше. Он хочет стать человеком, и мы должны ему помочь. Остается вопрос — как? Что надо сделать для его социализации?

— Эх, Пепп, Пепп, — вздохнул Дудкин. — Ты был и остался романтиком. Ну подумай сам: какого общения больше всего не хватает парню в двадцать лет?

Директор поглядел на ассистента, ассистент — на директора, и на следующий день к Ивану была подселена Мария-Розалия,

или попросту Мэри, восемнадцатилетняя красотка весом 160 килограмм, недавно привезенная из близкой к Габону Гвинеи.

Иван и Мэри, взявшись за руки, направились в пещеру и не выходили оттуда две недели. Терьер Володья бежал, преодолев с риском для жизни канаву и забор, и ни за что не хотел возвращаться обратно. Телефон обрывали феминистки и защитники прав животных. Очень скоро потянулись и первые судебные повестки. Директор сидел в своем кабинете, обмотав голову мокрым полотенцем, и непрерывно совещался с адвокатами и Дудкиным. В конце концов было решено послать на выручку Марии-Розалии взвод морской пехоты, вооруженный водометами. Иван встретил агрессоров грудью, но после недолгой схватки был вынужден признать преимущество американской военной силы.

Когда инцидент был исчерпан, профессор Шворц вновь предстал перед телекамерами.

— По всей видимости, Иван еще не готов к пониманию брака как добровольного союза двух особей, — отметил он.

— Персон, Пепп, персон, — ехидно поправил стоявший за его плечом Дудкин.

— Двух персон, спасибо. Нам следует признать свою ошибку. Я должен с сожалением констатировать, что половая жизнь не привела Ивана к социализации. Наоборот, она лишила его желания общаться с кем бы то ни было. Сейчас он находится в жестокой депрессии, и нам надо искать новые формы работы.

Как только журналисты ушли, директор схватился двумя руками за голову и принялся мерить свой кабинет огромными шагами.

— Два неправильных хода! — восклицал он в отчаянии. — Два подряд! Третьей ошибки пресса мне не простит! Что же делать? Что делать, Джей-А?

— А вот что! — вдруг осенило Дудкина. — Давай попробуем свести его с соотечественниками. Сейчас в Иоланте как раз гостит баскетбольная сборная русских тред-юнионов. Вчера «жирафы» сделали их почти всухую, и теперь им нужны позитивные эмоции. Пригласим их к нам. Может быть, услышав русский язык, Иван снова потянется к людям? Да, это очень вероятно. Я могу даже сам провести экскурсию. Правда, понадобится переводчик.

— Гениально! — воскликнул профессор Шворц. — Только экскурсию проведу я, а переводчиком будешь ты.

— Но я же почти ничего не помню по-русски!

— Вспомнишь, Джей-А, вспомнишь...

* * *

На следующее утро русская баскетбольная сборная неторопливо прогуливалась по дорожкам зоосада, дивясь свободно расхаживающим повсюду павлинам и привставая на цыпочки, чтобы увидеть за забором тигров. За спортсменами бодро топали на ходулях Дудкин и профессор Шворц.

Иван в это время сидел у пруда и ловил корпусом разбитого телевизора зеркальных карпов. Блестящая чешуя этих рыб напоминала ему бронежилеты морских пехотинцев. Поймав карпа, он аккуратно отвинчивал ему сначала хвост, потом голову и выкладывал рыбу в сложный узор на газоне.

Завидев Ивана, сборная профсоюзов встала как вкопанная. Повисла пауза.

— Вомужик, — сказал, наконец, центрровой Мостовой.

— Волосатый какой! Грузин, наверно, — предположил защитник Ложкин.

— Какой еще грузин-мурзин, — возразил запасной Малых. — У них тут своих таких шварценеггеров полно. Не видал вчера, что ли?

Иван вздрогнул. Он бросил последнего карпа в пруд и на двух ногах осторожно подошел к забору. Здесь он постоял некоторое время, молча глядя в глаза Мостовому, а потом вдруг сел на землю.

Иван медленно согнул корпус, протянул вперед левую руку, сложил ладонь лодочкой, а правой мелко-мелко закрестился.

Сборная ахнула так, словно закинула жирафам решающие три очка на последней секунде.

— Наш! — выдохнул Мостовой.

— Не грузин! — ошеломленно пробормотал Ложкин.

— Во Христа верует... — шепнул Малых.

Но их удивление не шло ни в какое сравнение с бурей чувств, охватившей американцев.

— Что это?! Что все это значит?! — вопил профессор Шворц, тряся Дудкина, как грушу.

Но Дудкин не отвечал. Не отрывая широко раскрытых глаз от Ивана, он трясся вместе с ходулями, мелко икал и бормотал по-русски:

— Мать ити! Мать ити! Мать ити!

* * *

Через пять минут, когда к ассистенту вернулся дар английской речи, он разъяснил боссу, что Иван в совершенстве владеет языком жестов — правда, только русских.

У профессора Шворца закружилась голова. Все стало ясно: перед ним был настоящий талант, он наконец нашел ученика, которого искал всю жизнь. Мечта сама шла в руки, разумная горилла широко распахивала двери в сияющие дали всемирной славы.

Через десять минут два джентльмена уже звонили в Москву, а через неделю перед директором предстал взъерошенный после беспосадочного перелета Вавила.

— Имеете ли вы метод? — спросил его профессор Шворц по-английски.

— Имеете ли вы там у себя метод? — транслировал Дудкин. Вавила почесал в затылке, развел руками и что-то пробормотал.

— Что он говорит? — обернулся профессор к Дудкину.

— Он говорит «дык».

— Что он имеет в виду?

— Он имеет в виду, что метода у него пока нет.

— Вот и прекрасно! Нет — и не надо. Метод есть у меня, и этот метод принесет славу нам всем! А теперь слушай меня внимательно, Джей-А. Времени на обучение этого парня английскому у нас нет. Поэтому будем работать через двух переводчиков. Первый — он, второй — ты. Придется тебе вспомнить не только русский язык, но и русские жесты. Парня поселим прямо у Ивана, во второй спальне. Почему? Во-первых, так полезней для дела. Во-вторых, не стоит показывать его прессе. В-третьих, будет гарантия, что он не убежит. Но на всякий случай купи ему страховку от диких животных. Кормить борщом. Журналистам ничего не говорить, позовем их, когда все будет готово. Первый урок завтра в семь ноль ноль!

Трудно описать восторг Ивана, когда он увидел, что через его забор лезет Вавила, нагруженный матрасом, одеялом и подушкой. Он ухватил учителя обеими руками и прижал к груди с такой силой, что если бы не спальные принадлежности, Вавиле вряд ли бы довелось провести хотя бы один урок. Весь вечер и почти всю ночь друзья просидели на пороге своего дома. Иван, изголодавшийся по общению, руками и ногами рассказывал долгожданному собеседнику обо всех тех горестях и радостях, которые он пережил в этой безумной стране. Когда ему не хватало жестов, он ударял себя в грудь

кулаком, и тогда Вавила гладил его по голове, успокаивая, как маленького ребенка.

— Ничего, ничего... — бормотал Вавила. — Авось проне-сет. Утром посмотрим, как оно тут...

На следующее утро на ранчо Ивана поставили сразу три складных стула. На первом восседал профессор Шворц: он предлагал темы для занятий в научной последовательности и осуществлял общее руководство. На втором, как на сковородке, подскакивал Джей-А Дудкин: он транслировал слова босса в американские жесты, а те, в свою очередь, пытался склонить на русский манер. На третьем стуле, что-то бормоча по своему обыкновению, ерзал Вавила: его задачей было понять, что хочет сказать Дудкин и довести общий смысл до Ивана. Иван же, глядя на учителя влюбленными глазами, старательно копировал его телодвижения. И хотя внешне эта картина сильно напоминала разговор четырех синьор на итальянском рынке, на самом деле это была очень напряженная работа. Она кипела с утра до вечера, как плавильный котел, и мало-помалу начала давать результаты.

* * *

Дни проходили в непрерывной жестикуляции, а по вечерам усталые Иван и Вавила садились на скамью у пруда и смотрели на закат над небоскребами. Вавила чувствовал невыразимую тоску.

— Эх, Ваня... — бормотал он, припав к плечу друга. — Попали мы с тобой, как куры во щи. Ну что тут за люди? Дудкины, Будкины... И Дудкина этого хрен поймешь, чего он руками машет. «Бабилла, подыми свой хэнд ап!» Тьфу! А хуже всего мудрила наш, профессор Шворц. Мудрит он над нами, мудрит, а зачем все это, а? Слава-деньги ему нужны, вот зачем.

Слава-деньги, а не разум твой. Мудогенная тут обстановка, Ваня, томится душа. А главное — ведь зря все это. Ну не заговоришь ты на собачьем их языке! Тут человеку ничего не понять с незаконченным высшим, а ведь ты, извини, горилла. Вот у вас в Африке, Ваня, есть хорошая пословица: черепаха ежа не выпердит. Точно сказано! А у нас говорят: выше лба уши не растут. Понимаешь, да? Хотя у тебя-то как раз растут... талант ты. Эх, Ваня, Ваня, войдешь ты в моду, как в холодную воду, а я за тобой. И понесет нас течением вдоль по матушке Миссисипи... А не надо бы этого всего. Нам бы по домам, а? Уйду я в рощицу, уйду в зеленую и буду слушать там канареечку... А ты бы там, у себя в Африке, колибрей бы слушал... Ну ладно, пошли спатеньки. Завтра утром Шворц придет, окею учиться будем...

Иван бережно брал сонного учителя на руки и относил в пещеру.



Но несмотря на все Вавилины вздохи и сомнения, обучение продвигалось вперед на редкость успешно. Иван, преданно глядя Вавиле в глаза, трудился не покладая всех четырех рук. Его словарь рос не по дням, а по часам. Правда, американским жестам он так и не выучился, но зато через три месяца владел уже пятью сотнями русских телодвижений, выражавших американские смыслы — выражавших, конечно, в той мере, в какой эти смыслы понял Вавила. Кроме того, слушая диалоги своих наставников, Иван понемногу начал без всяких жестов понимать разговорный американский язык, а затем выучил алфавит и даже попробовал вместе с Дудкиным читать газетные заголовки.

Через полгода, когда был перейден рубеж в тысячу жестов, профессор Шворц решил, что пришла пора приглашать журналистов.

Первая пресс-конференция состоялась прямо в зоопарке и превзошла все ожидания. Иван ответил на вопросы двух десятков репортеров, поговорил по телемосту с группой животного действия штата Орегон, перевел пантомимой заголовки из центральной газеты и даже немного поскакал по сцене умирающим русским лебедем.

На следующее утро он проснулся знаменитым. Заголовок на первой полосе «Вашингтон пост» гласил:

ИВАН ЧИТАЕТ ТОЛЬКО НАШУ ГАЗЕТУ

С этого дня началась новая жизнь. Пророчество Вавилы исполнилось: река славы подхватила Ивана и закружила в своих водоворотах. Его портреты не сходили с первых страниц таблоидов. Каждое его новое высказывание подхватывалось телеведущими и входило в словарь расхожих цитат. Кукла «Иван, читающий “Вашингтон пост”» стала талисманом этой газеты. А журнал «Нэшнл джиографик» провел эксперимент, который доказал, что 66 процентов американцев узнают Ивана по одной только фотографии его знаменитых рыжих волос, что превысило показатели Мадонны и Бритни Спирс.

Перед Белым домом однажды утром выросла палатка, в которой обнаружился толстый человек в душном костюме гориллы. Он потребовал гражданства для Ивана и отставки президента. Акция оказалась бессрочной, и вскоре фото протестанта уже красовалось во всех путеводителях по Вашингтону. Летом, когда жара в столице переваливала за 30 градусов, этот человек трижды в день устраивал перфоманс «Превращение гориллы в человека», снимая шкуру на публике. Человек получался красный, распаренный и волосатый. Осенью к первой палатке присоединилась вторая, потом третья, и постепенно образовался небольшой табор борцов за права Ивана.

Но гораздо больший табор раскинулся у центральных ворот иолантского зоопарка. Укрепления профессора Шворца превратились в военный лагерь, осаждаемый восторженными фанатами и бесноватыми репортерами. Утром, как только открывались ворота, захватчики с ревом врываются внутрь, и до самого закрытия толпились у забора Ивана: забирались друг другу на плечи, галдели, бешено жестикулировали, жужжали и щелкали камерами, кидали Ивану запрещенную диетологом пищу и всячески мешали ему жить. Все крупные телеканалы и газеты прикрепили к иолантскому зоо собственного папарацци, и мечтой каждого из них было интервью с Иваном.

В конце концов профессор Шворц был вынужден объявить, что зоопарк временно прекращает доступ посетителей. Но к тому времени Иван уже успел возненавидеть американскую звездную систему и порождаемых ею чудовищ еще больше, чем американскую морскую пехоту.

К Рождеству словарь Ивана достиг двух тысяч жестов и был тут же издан отдельным томом с картинками. Редактор словаря профессор Шворц в очередной раз предстал перед камерами Си-Эн-Эн.

— Контакт с животным миром, — с пафосом объявил он, — о котором так долго мечтало человечество, можно считать окончательно и безусловно установленным!

Журналисты зааплодировали.

Потом посыпались вопросы.

— Профессор Шворц, наших телезрителей волнует вопрос: не явилось ли тяжелое прошлое Ивана препятствием для его развития?

— Я не думаю так. Я полагаю, что русский бэкграунд даже помог ему двигаться в правильном направлении. Благодаря

своему прошлому Иван теперь отлично понимает преимущества демократии.

— Профессор Шворц, волнение наших радиослушателей вызывает следующий вопрос: какую еду Иван любит больше всего?

— Ту же, что и большинство американцев: арахисовое масло и сэндвичи с джемом.

— Профессор Шворц, наших читательниц беспокоит вопрос: не страдает ли Иван от ожирения?

— Нет, у него нет ни унции жира.

— Профессор Шворц, а есть ли у Ивана зубная страховка?

— Разумеется, как у всех членов иолантского зоокомьюнити.

— Профессор Шворц, а не хотел бы Иван стать натурализованным гражданином нашей страны?

— Это вопрос настолько личный, что на него может дать ответ только сам Иван.

— А когда Иван, наконец, даст ответ?

— В следующую субботу, друзья, в следующую субботу. Смотрите шоу Ларри Гудмена!

— О-о-о!

* * *

И вот пришла та суббота, которую ждала вся Америка — день, когда должен был завершиться долгий путь людей назад к природе и начаться новый, совместный поход всех живых существ к тотальной демократии. Иван был объявлен главным участником знаменитого вечернего шоу Ларри Гудмена. Программу вел сам Ларри Гудмен — бодрый старик в красных подтяжках, удивительно похожий на профессора Шворца.

Страна замерла у экранов, и под звуки джаз-банда, исполняющего увертюру из мюзикла «Горилла навсегда», сияющий

Ларри выплыл в сияние софитов. Он остановил аплодисменты плавным взмахом руки и торжественно начал:

— Леди и джентльмены, сегодня я хочу представить вам героическую персону... — Гудмен отвесил аудитории щедрую паузу. — Да, героическую персону, ибо это слово подходит моему гостю как нельзя лучше. Судите сами. Лишенный от рождения способности говорить и понимать других, он ценой огромных усилий овладел языком жестов. На сегодняшний день в его словаре больше двух тысяч слов! Он знает алфавит и обожает читать газеты. Его коэффициент интеллекта приближается к семидесяти, что превышает результаты тридцати процентов наших соотечественников. У него доброе сердце и богатое воображение. Он очень любит домашних животных. Он увлекается искусством, выкладывает на газонах сложные композиции из рыб, и его произведения уже раскуплены лучшими музеями современного искусства. Он отлично помнит свое тяжелое прошлое, но не жалеет о нем. У него своеобразное чувство юмора, в чем вы сегодня не раз убедитесь. Он способен плакать от одиночества и смеяться от любви. И при этом, леди и джентльмены, он лишен большинства обычных человеческих слабостей. Он не способен ни лгать, ни льстить. Он не испугается силы, потому что он сильнее любого тяжеловеса, и он не станет брать у меня автограф, потому что ему чужда мелочная суета. Сегодня у нас не просто шоу! Сегодня все честные люди Америки, которые смотрят наш канал, должны решить: достойна ли эта персона тех человеческих прав, которых она была лишена всю свою трудную жизнь, — жизнь, проведенную в странах, где эти права попираются. Братья и сестры по разуму, вы сами должны решить это! И принять решение будет не просто. Ведь наш гость не принадлежит к роду homo sapiens. Да, он не человек. Персона, о которой я говорил —

героическая персона, леди и джентльмены! — это знаменитая афро-русско-американская горилла Иван Тургенев! Аплодисменты — в студию!!!

Но последний призыв был уже лишним. Аудитория взывала от восторга, и у входящего на двух ногах Ивана на секунду помутилось сознание. Он почему-то вспомнил, как на него шел целый взвод морской пехоты с водометами наперевес.

— Располагайтесь, джентльмены! — радушно обратился хозяин к Ивану и сопровождающим его ученым лицам.

Джентльмены расположились.

Иван — во фраке, но без ботинок — сидел в мягком кресле, иногда от волнения почесывая правую бакенбарду левой ногой. Сияющий Дудкин стоял у него за спиной, отечески положив руку на плечо питомца, а сияющий Шворц раскинулся в кресле между Иваном и Гудменом, всем своим видом излучая ум, человечность и благожелательность. Вавилу, чтобы он не портил праздника своей мрачной физиономией, заранее спрятали за креслом Ивана. А чтобы он мог видеть Ивана и переводить его жесты, туда же засунули маленький телевизор.

Гудмен дождался конца восторженного гула и приступил к разговору:

— Профессор Шворц, мы чрезвычайно высоко ценим ваши научные достижения, но я надеюсь, что вы не обидитесь, если я начну сразу с вопросов к Ивану. Нетерпение наших телезрителей слишком велико. Итак, первый вопрос. Иван, скажите нам: что вы любите больше всего на свете?

Это был непременный первый вопрос всех тех бесчисленных журналистов, которые портили Ивану жизнь в Иоланте. Иван недовольно посмотрел на Гудмена, нерешительно — на Шворца, а потом вдруг встал и принялся расстегивать штаны. По залу сразу же пошла волна здорового, сочувственного,

но совершенно безответственного хохота. Над историческим шоу нависла угроза, но многоопытный Ларри тут же сумел выправить курс своего корабля.

— О, я понял, понял! — воскликнул он с лучезарной улыбкой. — Не надо перевода. Нужная вам вещь у нас есть!

И он протянул Ивану заранее заготовленный банан.

Иван подтянул штаны, без особой охоты принял подарок, взвесил его на ладони, огляделся — и вдруг пустил банан прямо в лысину Марри Крюгеру, дирижеру джаз-банда в розовом пиджаке, которого Гудмен использовал на подхвате.

Марри был не первый день в шоу, и потому отреагировал как надо — быстро и точно. Он поймал банан левой рукой, правой скомандовал туш, ртом откусил половину банана вместе с кожурой, лицом развернулся к публике, правым глазом залихватски подмигнул камере, левым дал понять боссу, что все о'кей, — и лихо пустил огрызок назад Ивану. Иван перехватил банан и поднял большой палец.

Зал грохнул аплодисментами.

— Как я говорил, у Ивана, кроме выдающегося ума и таланта, есть еще и очень своеобразное чувство юмора, — объявил Гудмен. — Как и у тебя, Марри. А теперь более серьезный вопрос. Скажите, когда вы впервые поняли, что вы талантливее окружающих?

Иван задумчиво почесал задницу пятерней, а потом показал ведущему мизинец.

— Хрен знает, давно было, в детстве, — просипел Вавила из-под кресла. — Годик мне тогда был, наверно.

— Точно не помню, но это было давно. Видимо, когда мне был один год, — четко транслировал Дудкин.

Профессор Шворц радостно закивал. Слова ему не давали, оставалось только кивать и сиять улыбкой.

— Вы тогда жили в Африке, не так ли? Вы помните свою семью? На кого из нас был похож ваш отец?

Иван покосился на Шворца. Шворц закивал еще радостней и привстал. Иван поднялся из кресла и широко распахнул руки для объятий. Шворц тоже раскинул руки, но Иван вдруг легко, как пушинку, отодвинул его в сторону и направился прямо к Гудмену. Зрители ахнули, но Ларри успокаивающе поднял руку. Подобное развитие событий было предусмотрено в мерах безопасности шоу: под знаменитыми подтяжками на ведущем был надет крепкий корсет, и потому объятия прошли без последствий. На лице Ларри даже не выключилась отеческая улыбка, хотя Иван стиснул воображаемого папу от всей души.

Зал был тронут. Иван поприветствовал зрителей рот-фронтом и вернулся в свое кресло.

Гудмен вытер холодный пот со лба, поднял накал улыбки на два градуса выше и продолжил интервью:

— Вы прибыли в Америку более двух лет назад. Какое впечатление произвели на вас тогда американцы?

В ответ Иван одной рукой приобнял Шворца, а другой показал чебурашку.

— Народ теплый, но малость дурной, — перевел Вавила.

— Американцы чрезвычайно доброжелательны, хотя, на мой взгляд, несколько эксцентричны, — отчеканил Дудкин.

— Да, да! — вставил, наконец, свои пять центов профессор Шворц. — И вы знаете, Ларри, ведь точно то же самое можно сказать о гориллах! Эксцентричны и очень доброжелательны. Но это только внешнее впечатление, это не главное! Главное — что они как дети, умные и добрые дети. Общение с гориллой делает каждого из нас немножко ребенком.

— В этом нет никаких сомнений, профессор Шворц. Вся Америка высоко ценит вашу отеческую заботу о нашем

замечательном современнике. И на всех лицах в этом зале я вижу самую непосредственную детскую радость. Но мы несколько отклонились от темы. Известно, что вы, Иван, жили на трех континентах. Скажите, на каком из них вам жилось лучше, чем на других?

Иван без колебаний подтянул к себе Шворца, отодрал от лацкана его пиджака значок в виде американского флага и высоко поднял знамя над головой.

— О, значит это Америка! Но как же Африка и Россия? Где ваша настоящая родина?

Иван на минуту задумался. Потом он показал камере кулак и стал разгибать пальцы. Сначала он разогнул мизинец и побаюкал его, как ребенка. Потом разогнул средний палец и осмотрел его со всех сторон, поджав остальные. Потом разогнул большой, высоко поднял руку и тут же сделал вид, что откручивает поднятый палец другой рукой.

Вавила, чуть подумав, перевел так:

— В Африке, это... родился я. В России жил себе... ну, так себе жил. А у вас тут ничего, жить можно. Тут и помру, наверно.

— Он говорит, что был рожден свободным, — вдохновенно подхватил Дудкин, — потом претерпел много бед, а в будущем хотел бы умереть свободным гражданином нашей свободной страны!

Профессор Шворц молча встал и вытянулся, словно заслышав гимн. У Ларри Гудмена навернулась слеза, которую тут же показали крупным планом.

— Я не стесняюсь этих слез, — сказал Ларри после приличной паузы. — Сорок миллионов телезрителей чувствуют сейчас то же, что и я. Мы должны помочь Ивану осуществить его мечту. И мы ему поможем. Леди и джентльмены! Иван —

не единственный гость нашего шоу. Сейчас на эту сцену выйдет еще один чрезвычайно специальный гость. Таких гостей у меня еще никогда не было и, я боюсь, еще долго не будет. Кем бы вы ни были по своим политическим убеждениям, мои дорогие телезрители, вы не можете не оценить величие исторического момента. Я прошу в студию президента Соединенных Штатов Америки!

* * *

В зале началось нечто невообразимое. Зрители вскакивали с мест, нестройно запевали про полосатый флаг, бешено били в ладоши, топали, и при этом все как один рыдали. Расчет Ларри оказался точен: как бы ни относились собравшиеся к своему терявшему популярность президенту, сейчас их души объединила одна слезная спазма.

Президент, удивительно похожий на Ларри Гудмена, вошел, отечески улыбаясь и делая правой рукой характерный для него успокоительный жест. Он почти сразу начал говорить, и шум быстро стих.

— У меня в детстве была мечта, — начал он неожиданно просто. — У нас в доме жила маленькая обезьянка, мой товарищ по детским играм. Дети всех стран любят представлять себя родителями своих питомцев. И я часто представлял, что Блонди — так звали мою обезьяну — это мой приемный сын. Мы с ним разговаривали часами, и я видел, что он отлично понимает меня, но не может ответить. И я мечтал о том, что когда-нибудь он вырастет и заговорит. Думаю, что эту мечту разделяли со мной в детстве многие из вас, мои дорогие американцы. Все мы когда-то играли в Тарзана, все мы плакали над несчастной любовью Кинг-Конга. Это часть нашей культуры. И теперь я счастлив приветствовать первого представителя

дружественного вида, которого наша великая наука сумела сделать равным нам всем. От имени народа и конгресса Соединенных Штатов я объявляю о том, что рожденный в Африке и выросший в России самец береговой гориллы, Иван Тургенев, двадцати трех лет, проявивший необыкновенные интеллектуальные способности и завоевавший любовь всех наших сограждан, — получает вне очереди и без всяких экзаменов полные права американского гражданина!

Сразу после этих слов Марри Крюгер взмахнул рукой, и грянул гимн.

Зал встал и запел, как один человек. Камера скользила по счастливым мокрым лицам.

Как только пение кончилось, ведущий живо взял течение шоу обратно в свои руки.

— Мистер президент, я думаю, что Иван слишком потрясен, чтобы выразить вам всю глубину своей благодарности. Но все же мы должны дать ему слово. И я хочу задать Ивану последний вопрос: что вы чувствуете теперь, когда стали человеком? О чем вы думаете при словах «человек» и «гражданин Америки»?

Иван задумчиво оглядел зал. Потом он вдруг закинул левую руку за кресло, отодвинул в сторону Дудкина и в одно мгновение выудил на свет божий растрепанного Вавилу. Он бережно поставил учителя на пол и отряхнул с него пыль. Вавила моргал от яркого света. Иван взял его за руку и подвел к президенту.

— Кто это? — удивленно спросил президент.

— Это наш русский сотрудник, — поспешил вмешаться профессор Шворц. — Его зовут Бабилла и он помогал нам в обучении Ивана. Они дружат, и я думаю, что Иван просит вас предоставить гражданство также и его другу.

Иван кивнул совершенно по-человечески. Перевод был не нужен.

Президент был явно растерян. С одной стороны, добрые чувства Ивана, несомненно, вызывали симпатию у сорока миллионов избирателей, которые сейчас ожидали его ответа. Но с другой стороны, в Америке есть закон о гражданстве, и нарушить его для никому не известного человека означало бы добровольно встать под лавину критики.

— А насколько вы владеете английским и знаете конституцию нашей страны? — осторожно спросил президент, обращаясь прямо к Вавиле.

Вавила пробормотал что-то по-русски и развел руками.

— Что он говорит? — прошипел Шворц.

— Он говорит «дык», — ответил Дудкин.

— Мистер президент, наш русский друг говорит, что он еще не овладел в достаточной мере ни языком, ни другими необходимыми американскому гражданину знаниями и навыками, — с сожалением произнес профессор Шворц. — Но мы будем работать. Я думаю, что он на правильном пути, и через год-два Бабилла с помощью иолантской методики придет к заветной цели. Ну, и Иван ему поможет!

— Вот и прекрасно, — с облегчением улыбнулся президент. — Мы все будем этого ждать. И я хочу сказать Ивану, что его добрые чувства находят отклик в моем сердце, как и в сердцах миллионов телезрителей!

С этими словами президент шагнул к Ивану, протянул ему открытую ладонь и с любопытством заглянул бывшей горилле в глаза.

Иван ответил ему долгим и пристальным взглядом.

Повисла пауза, и в этот момент с новым гражданином стало происходить что-то неладное. Он отдернул лапу, так и не

ответив на отеческое рукопожатие, и помахал ей в воздухе так, как будто обжегся. Потом он еще раз внимательно поглядел стоявшему перед ним человеку с серебристой головой в глаза. Потом повернулся лицом к притихшему залу, встал в гордую позу и трижды размеренно ударил себя кулаком в грудь.

А потом резко развернулся — и погнал президента своей страны пинками со сцены.

* * *

— Не стрелять! — бешено заорал Гудмен. — План би-шесть!!!

В ту же секунду из-за всех кулис ударили водометы. Президент был мгновенно эвакуирован в полном соответствии с планом би-шесть, а мокрый Иван остался стоять посреди сцены, протирая глаза.

— Выключить водометы! — гаркнул Гудмен. — Шоу продолжается!

Потоки воды тут же прекратились, и Марри Крюгер командовал успокоительный вальс.

Иван оглядел притихшую биомассу в зале тяжелым взглядом исподлобья, а потом резко выкинул вперед правую руку, ударил по ней левой и зарычал.

Вальс оборвался.

— Что он говорит? — быстро спросил Гудмен.

— Бабилла, что это? — пискнул Дудкин.

— Говорит: хрен вам всем, а не шоу, — ответил Вавила. — Злых людей почуял наш рыжий, сейчас вразнос пойдет.

— Он говорит, что он сердитая рыжая горилла, и что у всех нас наступает трудная минута в жизни, — дрожащим голосом произнес Дудкин в микрофон.

Иван согласно кивнул и приступил к действиям — настолько молниеносным, что помешать ему было немыслимо. Перевод

был теперь совсем не нужен, и поэтому первым в зал полетел Джей-А Дудкин. Затем Иван приподнял за шивороты Шворца и Гудмена, стукнул их лбами друг о друга и отправил следом. Эти джентльмены были еще в воздухе, а Иван уже одним прыжком перебрался в оркестр. Он ухватил успевшего пискнуть Марри Крюгера за штаны, поднял высоко над головой, — но тут раздался умоляющий вопль Вавилы:

— Ваня, не надо!!!

Иван вздрогнул и замер, как будто очнувшись.

Он еще раз оглядел зал, а потом положил Марри на пол и устало уселся на него. Подперев голову рукой в позе мыслителя, Иван с полным безразличием смотрел на то, как его со всех сторон осторожно окружает взвод морской пехоты.

* * *

Наутро газеты пестрели заголовками:

НОВЫЙ ГРАЖДАНИН ПОКУШАЛСЯ
НА ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА

ГОРИЛЛА ЕСТЬ ГОРИЛЛА

ИВАН ВСТУПИЛСЯ ЗА ДРУГА

ТРУДНЫЙ СЛУЧАЙ ДЛЯ ПРИСЯЖНЫХ
БЕДНЫЙ ЛАРРИ...

БРАВО, ИВАН!

И ВСЕ-ТАКИ ШОУ ПРОДОЛЖАЛОСЬ

**А МАРРИ КРЮГЕРУ
ХОТЬ БЫ ЧТО!**

* * *

Тем же утром Иван и Вавила сидели, тесно прижавшись друг к другу, на койке в специальной камере федеральной тюрьмы. По многочисленным просьбам телезрителей им дали последнее свидание с глазу на глаз.

— Да не убивайся ты так, Ваня, — бормотал Вавила. — Оправдают тебя присяжные. Ты же звезда, да к тому же за кореша вступился. И за меня не бойся — ну вышлют домой, так ведь мне того и надо. Еще героем стану. А не вышлют — так здесь останусь, буду в университете русскую культуру преподавать. Тут, знаешь, интересно — не то, что с бабуинами в Москве. Я их тут всех говорить научу. Ну не журишь. Встретимся еще. А знаешь что... Давай-ка споем на прощание! Что бы такое... А, вот! Ну, слушай и подвывай:

*За что вы бросили меня, за что?
Где мой очаг? Где мой ночлег?
Не признаете вы мое родство,
А я ваш брат, я человек...*

Иван тихо вторил грустной песне, а со стены прямо в глаза ему глядело недреманное око телекамеры Си-Эн-Эн.



*А от танцовщицы осталась одна
только блесстка, и была она обгорелая
и черная, словно уголь.*

Андерсен



Поздно вечером в одном из столичных театров закончился спектакль «Вишневый сад». Рабочие не стали разбирать декорации, потому что на завтра была назначена та же пьеса, а только снесли все, что можно украсть, в кладовую, развесили костюмы в костюмерной — и ушли.

Костюмы, взбудораженные успехом спектакля, долго шуршали и шелестели, и засыпать стали уже далеко за полночь. Не спали только два ветхих костюма, давно отставленные от сцены и помещенные в отдельный шкаф. Их мучила бессонница и боль во всех швах.

Одним из них был поношенный фрак, все еще хранивший следы необыкновенной выправки. По старой театральной легенде, этот фрак был пошит некогда для самого Станиславского. Во всяком случае, на руинах его подкладки внизу было написано выцветшими фиолетовыми чернилами: «Станиславскій», а дальше шло еще какое-то слово, которое уже трудно было

прочитать — что-то вроде «гонобобель». Раньше молодые артисты добивались чести облачиться в этот фрак, чтобы своей собственной кожей прикоснуться к бессмертию, гордо пройти по сцене, сняться на память. Фрак хотели даже отправить в музей. Но вызванный из музея ученый театровед по фамилии Рябчиков усомнился в репутации фрака. По версии Рябчикова, фрак был самый обыкновенный, москвошвеевский, а ругательную надпись на подкладке сделал лет сорок назад авангардный режиссер Мухин, ненавидевший классическое искусство.

Столь же печальная судьба постигла старинное белое платье в оборках и рюшах. По преданию, это платье было сшито более ста лет назад для самой Сары Бернар в «Даме с камелиями». Именно в нем парижская колдунья умирала каждую пятницу на подмостках «Комеди Франсэз», а также и во время многочисленных зарубежных гастролей. От постоянных обмороков и страстных объятий платье сильно поистрепалось, и когда стареющая чаровница последний раз посетила Россию, она подарила его юному драматическому дарованию Маргарите Зюкиной. «Сара Иванна», как стали дразнить молодую артистку, тоже не раз украшала платье камелиями, а впоследствии, когда новая власть сочла страдания мадемуазель Готье буржуазной отрыжкой, надевала его в других спектаклях из хорошей жизни. Доказательством подлинности этой истории служила прекрасно читавшаяся на подкладке французская надпись: «Во что бы то ни стало!» — девиз Сары Бернар. Впрочем, за этой надписью тоже шло одно слово — чисто русское, из тех, которые россияне иногда употребляют в качестве ненавязчивого артикля.

Увы, и эта красивая легенда была отброшена строгой наукой. Правдолюбец Рябчиков объяснил, что Сара Бернар никогда никому ничего не дарила, потому что отличалась феноменальной жадностью, и всю легенду, видимо, сплела сама Зюкина.

А последнее слово на подкладке добавил все тот же Мухин, желавший нагадить Зюкиной, которая в то время была уже дамой элегантного возраста и народной артисткой РСФСР.

Фрак и платье заперли в шкаф, даже не посыпав нафталином, и забыли о них.

— И что они там так шумели? — спросило белое платье, когда в костюмерной стало тихо.

— Говорят, сегодня шесть раз вызывали, — ответил фрак.

— *Fi donc!* Теперь и это считается успехом... На последнем спектакле «Дамы» в Петербурге меня вызывали семнадцать раз. Семнадцать! И я вся была засыпана камелиями, вся! И все платья в зале были такие же, как я. Я перевернула моду в этой варварской стране.

— А скажите, Сарочка, вы действительно помните мадам Бернар?

— Господи, да какая разница! Неужели можно упомнить все тела, которые я носила?

— Но все-таки Сара Бернар — тело особенное...

— Ну, помню, она поначалу была мне как раз впору, и даже шла. Но потом стала жиреть, как все они. Конечно, не так, как эта Зюкина — та под конец превратилась в настоящую белугу и больно растянула мне корсаж. Все-таки, что ни говорите, Бернар была парижанка.

— А с чем она вас сочетала?

— Она надевала на грудь бриллиантовую слезу, которую выплакал, глядя на меня, Виктор Гюго. Вообще мы с ней обожали бриллианты. У меня бриллианты были везде. Бриллианты и жемчут. Посмотрите, вот тут, слева, еще сохранились цветочки, в которые были вставлены жемчужины.

— Да, действительно, цветочки. А вот когда я был дядей Ваней, у меня был такой шелковый галстук...

— Ах, оставьте этот ваш скучный русизм! Что вы можете понимать в галстуках? Впрочем, я всегда охотно играла Раневскую — она, по крайней мере, приехала из Парижа. И уехала туда же, не будь душой.

— А еще мне так шли сигары...

Сара вдруг громко вскрикнула.

— Что с вами?

— Ох, проклятая моль! Сколько лет не могу привыкнуть к этим тварям! Ну вот, новая дырка.

Она была неподдельно расстроена.

— У вас прореха под сердцем, как от пули, — пошутил фрак.

— Это вы так шутите? Казар-рменная острота! Да разве вы можете сказать хоть что-то изящное... Вы и по-французски-то знаете три слова.

— А вы, конечно, больше. Ну-ка, скажите: «швабра».

— Не буду я с вами говорить.

— Потому что не умеете, Сара Иванна.

— Вы наглец!

— А вы лгунья! Можно подумать, что вы действительно помните Бернар!

— А можно подумать, вы помните Станиславского!

— Да, помню, мы играли дядю Ваню, и у меня были прекрасные галстуки!

— Этот дядя — сюртук, а не фрак! А я помню — бриллианты, бриллианты, бриллианты!

— Не было никаких бриллиантов!

— Были!

— Не было!

— Вы гадкий, гадкий, вы хуже, чем эта тварь Рябчиков! Вы были пошиты, когда Станиславский уже умер! Вот вам!

— Врете вы, ветошь!

— Да, да, вас пошил перед самой войной Аркашка Кацнельбоген! Главный портной ТЮЗа! Это его подпись стоит у вас на подкладке!

— А вы всю жизнь носили Зюкину, Зюкину, Зюкину!

— И вы играли в ТЮЗе буржуинов в «Мистере-Твистере», пока вас не выгнали за винные пятна! И чтобы попасть сюда, вы прикинулись Станиславским!

Старый фрак ничего не ответил. Он сразу как-то весь обмяк и сгорбился на своей вешалке: это была правда.

Повисла долгая пауза.

— Нет, не всю жизнь, — вдруг сказала Сара. — Один раз она уступила меня Машеньке Мезье. Это было в Севастополе, на гастролях.

— Да, верно! — сразу расправился Станиславский. — А вы помните — как раз тогда мы и познакомились!

— Мы с вами? Ах да, точно! Прямо на сцене! Послушайте, но когда же это было?

— Это было... Позвольте... Это было ровно пятьдесят восемь лет назад, день в день.

— Ах, не может быть!

— Да, 6 июня 1949 года. Зюкина в тот день заболела, и вы надели Машеньку. А я тогда носил молодого Теймураза Гогоберидзе.

— Да-да, вам очень шло. Артист сидел как влитой. И вы еще меня так схватили порывисто, страстно, и — смяли. Дуняша еле разгладила меня потом.

— А помните, нас тогда пригласили в ресторан после спектакля... Сам Белый Китель позвал.

— Да, и мы пошли прямо со сцены, я была в Машеньке и в шляпке.

— И мы танцевали с вами вальс на веранде, у моря...

— «Севастопольский вальс»!

— И море было все залито огнями...
— ... желтыми, синими, красными...
— ... и огромный военный корабль проходил мимо...
— Как он назывался?
— Линкор «Новороссийск»!
— Да, да, а потом мы с вами пошли в номер, вместе с теми...

— ...и обнимались всю ночь на стуле!
— Эх, что вспоминать... Я... я плачу.
— Ну что вы, Сарочка, успокойтесь!
— Сейчас... Подождите... Я сейчас... А Зюкина... Она была ужасна... Я от нее чуть не трескалась в последние годы... У меня так болят швы... И еще эта проклятая моль... Ах, почему я не могу сжечь себя! Я бы сгорела на сцене!

— Послушайте, Сара, а давайте станцуем еще один вальс, последний!

— Вальс? Сейчас?
— Ну да, сейчас — и прямо на сцене!
— Но я же совершенно не одета! Туфельки... Мантилька... Артистка... Но впрочем, если вы настаиваете, почему бы нет?

— Тогда позвольте ваш рукав. Наш выход, мадам Бернар!

И Станиславский порывисто шагнул вперед, — так, что плечики, его державшие, отлетели куда-то в сторону. Он широким жестом распахнул дверцу шкафа, подал рукав Саре, и они торжественно вышли в костюмерную.

По рядам костюмов, висевших на большой общей вешалке, прошел ветерок. Кто-то захихикал:

— Смотрите, смотрите! Гонобобель идет!
— Значит, их еще мыши не съели?
— Скорее не доели, коллега.
— Ах, не дай бог дожить до этих лет! — вздохнула средних лет шляпка с пером.

Но Константин Сергеевич шествовал, гордо расправив плечи, не обращая ни малейшего внимания на эту возню: он шел на сцену. Складки его расправились, как будто их вновь наполнили мускулы Теймураза Гогоберидзе, а согнутый рукав отстоял от нижней пуговицы ровно на восемь сантиметров, как и положено по неписаным законам большого света. А Сара, чуть опираясь на этот рукав, летела за ним, подобно желтовато-бледной бабочке-капустнице.

Перед самым выходом на сцену фрак вдруг наклонился и подобрал искусственную гвоздику, пылившуюся среди сваленного в углу бывшего реквизита. Он поднес ее партнерше, и та прикрепила ее к корсажу. Затем они вместе, единым движением, откинули портьеры, и перед ними предстал черный провал.

Вдоль ярусов чуть теплились электрические свечи. Огромный зал поблескивал малиновым бархатом, темным золотом отсвечивали ложи. По сцене гулял пьянящий закулисный ветер, и пахло той театральной пылью, запах которой никогда не забыть артисту.

Они медленно, как во сне, вышли на авансцену.

— Ах, сколько лет я не видела эти ложи... — прошептала Сара. — Вон там, в главной, два раза сидел сам Белый Китель Со Звездой. Я даже со сцены чувствовала, как от него несет табаком. А оттуда, из боковой, часто торчал красный галстук его дочери.

— Да-да, и портьеры все те же. А это что — смотрите!

Он обернулся, указывая на декорации. Перед ними была детская, и цветущие вишневые деревья ломились в открытые окна.

— Сад!.. Садик мой! — ахнула Сара, узнавая.

— Да, первое действие. Ах, Сарочка, когда-то мы с вами играли в этих декорациях, а теперь, как ни странно, мне сто пять лет.

— Вы опять врете!

— Я не вру, я играю. Но оставим все это, не будем ссориться — разве мы за этим сюда пришли? В сущности, вы были моей единственной в жизни любовью.

— А если так — то вальс!

— Вальс!

— Но как же без музыки?

— Ах, Сара, музыка внутри нас.

Он поклонился и церемонным жестом выгнул рукав, как бы пытаясь обнять партнершу. Сара сделала реверанс и оперлась на него, откидываясь немного влево и назад.

В сонной тишине театра беззвучно, но отчетливо прозвучали аккорды вступления. Пара двинулась и, покачиваясь, как лодка в предвкушении бури, медленно заскользила по черноморской волне.

Звучал «Севастопольский вальс» в исполнении Георга Отса:

Тихо плещет волна.

Ярко светит луна.

Мы вдоль берега моря идем...

Но вот прошли медленные такты и взвился припев:

Севастопольский вальс!

Помнят все моряки!

Разве можно забыть мне вас,

Золотые деньки?

И закулисный ветер, словно только сейчас расслышав музыку, внезапно налетел на них, подхватил и понес. Фалды фрака вились, как ленты бескозырки, а подол платья трепетал рядом, как флаг. Они оторвались от земли и закружились на фоне цветущих вишен.

И в этот миг вдруг качнулась и вспыхнула, сверкнув сразу всеми своими хрустальными подвесками, главная люстра. В царской ложе поднялся во весь рост Белый Китель Со Звездой и беззвучно ударил в рукава. И по этому знаку театр наполнился публикой. Военные френчи, блистающие орденами, вечерние платья, усыпанные бриллиантами, черные костюмы с галстуками, рабочие спецовки с красными значками — все яростно и беззвучно хлопали пустыми рукавами в такт неслышному вальсу.

А черно-белая пара кружилась все быстрее и быстрее, сливаясь в едином вихре и поднимаясь к невидимому потолку сцены. Они были уже почти на самом верху, когда в тишине театра вдруг послышался треск разрываемой материи — это у фрака отлетела фалда. Потом треск повторился — второй и третий раз. Платье и фрак стали трещать по швам и разлетаться на клочки. В разные углы сцены летели пуговицы, манжеты, подол юбки, лацканы фрака. Вихрь истончался — и вдруг распался совсем. Но еще мгновение казалось, что в воздухе продолжают кружиться две невидимые фигуры.

А потом погас свет.

Наутро уборщица, которая первой пришла в театр, увидела, что по всей сцене кто-то разбросал ветхие тряпки — белые и черные, а у самой рампы бросил помятую искусственную гвоздику. Ругая артистов и заодно скрягу-завхоза, она отнесла ветошь к себе в подсобку, чтобы потом пустить ее в дело, а гвоздику почему-то положила к портрету артистки Зюкиной, висевшему в фойе.



УПЛОТНА
БЫЛА
СОБАКА



Жил поп Симеон. Был он вдов давно, а трезв редко. Во хмелю же был нрава буйного, страх наводил на все село, а зашибал он и по праздникам, и по будням.

И была у него собака, Тишкой звали. Псинка маленькая, безобидная, черной масти. Мордочка острая, как у лисы. Беспородная, зато говорящая. Поп за то на нее ругался все время, не терпел ее голоса. А как заругается — кормить перестает.

Раз выпил поп с утра и стал Тишку со двора гнать.

«В Писании, — говорит, — сказано про вас, что вы твари бессловесные. Мы же суть подобия Божии и образы, и потому язык нам даден, а не пресмыкающим. Тебя послушаешь, — говорит, — веры лишишься. Через тебя, может, сам диавол глаголет, кто тебя знает. Не желаю, — говорит, — тебя больше питать, у меня деньги Божьи. Уходи, еретицкая

тварь, со двора, своим умом живи, у тебя его вагон и маленькая тележка».

Ушла Тишка, ничего не сказала.

Идет по деревне, кругом крики пьяные — праздник. Видит, свинья знакомая в луже лежит, Груша.

— А меня хозяин прогнал, — говорит Тишка.

Груша один глаз открыла и спрашивает:

— За что?

— В Писании, говорит, сказано про нас, что мы бессловесные.

— Там и про ослицу сказано про говорящую.

— Да ну? И что с ней было?

— Били.

— Вот он и меня побить хотел. Не дело, говорит, чтобы тварь с Божьим подобием разговаривала.

— Ага, — говорит свинья. — А поп твой с Богом, что, не разговаривает?

— И то правда, — изумилась собака. — Бог-то, выходит, добрей попа.

— Зачем же ты, дура, с людьми говорить начала?

— Сама не знаю, — отвечает Тишка. — Так, со скуки. Ну что теперь толковать. Прогнал он меня — надо своим умом жить.

Свинья как слово «ум» услышала — глаз закрыла.

— Ну и живи, — говорит, — а мне не мешай. А то тебя слушаешь — разволнуешься, с тела спадешь. Ступай, куда шла, и помни: умный — помалкивает.

Замолчала и уткнулась рылом в самую грязюку.

«А куда я шла? — думает Тишка. — Так, по улице».

Пошла дальше, видит — индюк, Иван Федорович. Клюет что-то у забора. Увидал Тишку — нахохлился, хобот распустил.

«Боится он меня», — думает Тишка, и еще горше ей стало.

— Иван Федорыч, ты охолони, я тебя не укушу.

Иван Федорович поостыл чуть-чуть.

— Что ходишь тут непутем? — спрашивает.

— Хозяин прогнал, буду своим умом жить.

А индюк на эти слова опять надулся.

— Знаю я ваш ум, — говорит. — Только сунься, лоб протараню.

Тишка только лапой махнула и дальше пошла. Чем с индюками разговаривать, думает, пойду лучше к людям.

Идет дальше, дошла до кабака. У входа мужики стоят-покачиваются, разговаривают меж собой на человеческом языке. Тишка подошла, хвостом вильнула.

— Чья такая собака? — один мужик спрашивает.

— Попова, чья еще, — другой отвечает.

Первый мужик нагнулся, камень с земли поднял и кинул. Попал Тишке в лапу. Больно! А второй мужик кружкой на нее замахнулся, которая у бочки с водой висела, да кружка на цепи оказалась.

«Вот вас бы всех на цепь», — думала Тишка, убегая.

Бежит, хромает, скулит от боли. Дошла до реки. Там бабы белье полощут. Увидали Тишку, говорят:

— Ишь, попова собака кака гладка. Насосались наших кровей, ироды!

Не стала к ним Тишка подходить, пошла в лес.

Идет лесом, принюхивается, нет ли зверя. Вроде чисто, волк давно прошел.

Долго шла, вышла на поляну. Видит: скит стоит небольшой, землянка с крестом. Подошла, тявкнула по-собачьи и давай хвостом крутить.

Вышел монах.

— Ты что, — говорит медленно так, — дурашка, заблудилась?

У Тишки слезы на глазах, хотела жаловаться, да прикусила язык: опять погонят. Только поскулила немножко.

Вынес ей монах миску воды, хлеба туда крошил.

— Ешь, — говорит, — животное. Больше нет ничего. Живу один, в посту и молитве. Раз в неделю хлеб приносят. Еще ягоды в лесу собираю. Меня молчальником зовут. Это верно, с людьми я не говорю. А с тобой Бог не осудит.

Тишка лакает тюрю, хвостом вертит. Доела, подошла, уткнулась носом монаху в рясу. Он ее по голове потрепал.

— Глазенки-то умные, — говорит. — Все понимает.

«Понимаю, да сказать не могу, — думает Тишка. — А на счет ума буду теперь Грушин урок помнить: умный-то помалкивает».

— А что с лапой у тебя? — монах спрашивает. — Ну-ка, дай сюда.

Подняла Тишка больную лапу. Монах принес травки какой-то, приложил, обвязал тряпицей.

— Пройдет скоро, — говорит.

И правда, легче стало.

Стали жить. Монах полдня молитвы творит, полдня толстую книгу читает. Должно быть, Писание, где про бессловесных и про ослицу сказано. Бывает, в лес сходит, ягод наберет. Тишка с ним. По субботам мужик приходит. Молча хлеб передаст монаху, поклонится — и назад. Тишка на монашьем хлебе отощала, шерсть свалялась. Но не уходит — монах добрый. Да и куда идти?

А клички ей так и не дал монах. Звал просто — «ты». И еще «дурашка». Редко только говорил с ней. Да Тишка и не отвечала по-человечьи, помнила свиной урок.

Так две недели прожили. Потом думает Тишка: «Как там поп мой? Не спился ли совсем с кругу? Надо бы проведать».

Ночью лизнула монаху руку и побежала в лес.

Бежит той же тропой, что сюда пришла, только чует — не хорошо в лесу, зверь рядом.

Сошла с тропы, залегла в яме под деревом. Страшно, выть хочется, а нельзя.

А звериный дух откуда-то сверху идет. Поглядела наверх. Звезды крупные, спелые, того и гляди попадают на Тишку. Пригляделась еще — и вдруг как взвоет. Прямо над ней на ветке летучая мышь висит, кровосос. Тишка забилась в яму на самое дно, а мышь ей тихо так, шипом:

— От живодера сбежала, что ли?

Тишка ответить хочет, а из горла только скулеж тихий. Поп говорил — в летучую мышь сам дьявол перекидывается.

— Худая какая, — говорит мышь. — Да ты меня не бойся. Нет тут больше мышей.

— А что так? — Тишка спрашивает чуть слышно. — А где твои все? Отбилась, что ли?

— Нет здесь моих. А ты чего дрожишь?

— Холодно. И боюсь я тебя.

— А чего боишься?

— Известно чего: накинешься, станешь кровь пить.

— Да с чего это мне накидываться?

— Известно чего: кровососы вы.

— А кто тебе сказал такое?

— Хозяин мой бывший, поп.

— Дурак он, твой хозяин, хоть и поп. Мы, мыши, насекомых едим. Комаров любим. Ты любишь комаров?

— Нет, — Тишка даже головой мотнула.

— И никто их не любит, кроме нас. Мы полезные людям, а они на нас поклеп возводят.

— А птицы разве комаров не едят?

— Птицы редко. Тут ловкость нужна. А я раньше за секунду мог двух комаров поймать.

— Ух ты! А почему «мог»? Теперь не можешь?

— Крыло у меня сломано.

— Вот оно что... А у меня лапа болит.

— Люди?

— Они.

Помолчали. Потоммышь спрашивает:

— Тебя как зовут?

— Тишка. А тебя?

— Десмод.

— Имя вроде не наше.

— А я не здешний.

Тут Десмод крутанулся вверх головой и мягко так, на одном крыле опустился прямо к Тишке под бок. Глянула на него Тишка — и обмерла. Какие там комары! Морда черная, на ней рыло свиное, как у Груши, глаз нет почти, по бокам уши острые, а из пасти — клыки.

Вспомнила тут Тишка поповы молитвы:

— Да воскреснет Бог, — забормотала, — да расточатся врази его...

А сама дрожит мелкой дрожью.

Десмод усмехнулся невесело, острые зубы показал:

— Что, похож на дьявола?

Тишка слово сказать боится, молчит, только про себя Бога призывает.

— А я и вправду кровосос, угадала ты.

Тишка хочет бежать, а лапы к земле прикипели. Смотрит на дьявольскую рожу ухмыляющуюся и не может взгляда отвести. А Десмод вдруг и говорит:

— Да ладно, не бойся ты, не буду я кровь твою пить художную.

— А что ж ты тогда есть будешь?

— А ничего. Мне все равно помирать без крыла. Ничего, кроме крови, не признаю. Людской крови.

— А комары? — Тишка спрашивает чуть слышно.

- Дрянь. Да и не наловишь их без крыла.
- Так ты говоришь, ты не дьявол?
- Нет. Никакого дьявола нет. Ты в это не верь.
- А Бог есть?
- Не знаю, не видел.

Опять помолчали.

— Слышь, Десмод, — Тишка говорит, — когда у меня лапа болела, меня монах травами вылечил. Ну почти вылечил.

— Ну и что?

— Может, он и тебя вылечит?

Десмод пасть открыл зубастую и этой пастью какой-то свиной звук прохрюкал — должно быть, засмеялся.

— Меня? — говорит, а сам все хрюкает. — Монах?

— Ну да, тебя, монах.

— Да ты посмотри на меня! Он же меня свиньям выбросит.

— У него нет свиней.

— Ну, живым в землю закопает и кол вобьет.

— Он добрый. С людьми не разговаривает, молится, всех тварей жалеет.

— С людьми не говорит?

Задумался Десмод. А потом вдруг усмехнулся почти весело, с этим своим подхрюкиванием.

— А, все равно пропадать, — говорит. — Поехали! Подставляй спину, видишь, я лететь не могу.

Тишка поглядела на него, поежилась, но делать нечего:

— Садись, — говорит. — Только чур не кусаться.

Забрался Десмод ей на спину. Тишка от страха бежит изо всех сил — поскорей бы добраться. А Десмод подпрыгивает на спине, крылья топорщит, чтоб удержаться.

Запыхалась Тишка, перешла на шаг. Малость отдышалась, потом спрашивает:

- Слышь, Десмод, а ты сам из каких мест будешь?
- Я из Колумбии. Ты такой страны не знаешь, небось?
- Не, не знаю. Я дальше четвертого Тёсова не бывала.

А к нам ты как попал?

- Люди привезли. В клетке.
 - Да зачем?
 - По ярмаркам показывали, за дьявола выдавали. Целый год. Кровь заставляли голубиную пить. А потом ушел я от них.
 - Как ушел?
 - Так. Прогрыз клетку.
 - А потом?
 - Потом в лесу жил. С вашими мышами, которые на комариной диете.
 - А как крыло сломал?
 - Мстил я людям. Поклялся ничего, кроме людской крови, не пить. А особо попов ненавижу. Третьего дня напал ночью на жирного попа в деревне, вот за этим лесом...
 - На отца Симеона?
 - На него.
 - Так это ж мой хозяин!
 - Вот он мне крыло и сломал. Еле ушел.
- Помолчали и в третий раз.
- Вот оно как все, значит... — говорит Тишка. — А хорошо у вас там в этой, как ее, ну, в земле твоей?
 - Хорошо. Там зимы не бывает. Мы там в пещерах живем. У нас в пещере — пять миллионов мышей. Ты знаешь, что такое миллион?
 - Нет, — отвечает Тишка.
 - Вон муравейник видишь? Там миллион муравьев. А нас в пещере — пять раз по миллиону. Если всем разом вылетать — полдня нужно.

Тишка глаза зажмурила и аж остановилась от ужаса.

— И все кровососы? — спрашивает.

— Ну, не все. На всех бы крови не хватило. Нас мало. А остальные больше по комарам.

Тишка побежала дальше, опять ходу набирает.

— Долго еще? — спрашивает Десмод.

— Вон уже, за поворотом. Эх, почему собаки не летают!

— Так ведь они и не говорят.

— Это верно, — вздохнула Тишка.

Вышли они на поляну, где скит стоит. Монах на пороге сидит, задумавшись, четки перебирает.

Тишка с Десмодом подошли поближе, Десмод спрыгнул с Тишкиной спины, одним крылом рыло свое прикрывает, а другое, сломанное, монаху показывает.

Посмотрел на него монах, уронил четки, закрестился часто-часто, молитву забормотал. Потом остановился, поглядел внимательно, и вдруг понял, в чем дело.

— Сломано крыло? — спрашивает.

Тишка скулит: да, да, помоги, мол. Ах, как заговорить хочется!

— К-как же мне быть? — говорит монах. — Нельзя мне с вами. Грех.

Тишка подбежала к нему, руку лизнула. Взяла за рукав, тянет к Десмоду, поскуливает.

Сжалился монах.

— Тоже Божья тварь, — говорит, — хоть и в дьявольском обликии.

Вылечил он Десмода, травами отходил.

Пока Десмод летать не мог, Тишка его тюрей кормила. Тот морщился, рыло свое воротил, но ел. На сладкое пару комаров требовал. А потом стал Десмод потихоньку вылетать

вечерами, насекомых ловить. Крови вроде бы больше не жаждал, даже морда подобрела. Да и сил у него не было.

А в субботу с утра пришел, как всегда, мужик с хлебом. Монаха не было, за ягодами ушел. А Десмод как раз на пороге сидел, крылья распустив, грелся. Увидел мужика, и вдруг как хрюкнет злобно. Взвился в воздух и давай кружить вокруг него. Норовит со спины подобраться.

Тишка увидела это издали, кинулась к ним, лает на Десмода, отгоняет. Мужик руками машет, «изыди, сатана!» кричит. Потом перекрестился, сплюнул и к лесу побежал.

А из леса как раз монах выходит.

— Сатана! — кричит мужик монаху. — Ты приютил! Сатанинское гнездо у тебя здесь, а не скит святой!

Ничего монах не ответил. Прошел, опустив голову, в землянку и дверь за собой затворил. Мужик еще раз сплюнул, погрозил всем кулаком и двинул в лес.

— Что ж ты наделал? — говорит Тишка Десмоду.

— Не сдержался, — отвечает Десмод. — Не могу я на людей спокойно смотреть. Да и все равно уже. Раз увидел он меня — считай, всем нам крышка.

— Что же теперь будет?

— А то и будет. Теперь вся деревня на нас пойдет, уж я-то людей знаю. Через час здесь будут. Уходить нам надо.

— Монах уходить не захочет, — говорит Тишка, — а я без него не пойду. Он мне жизнь спас.

— Ну, как знаешь, — говорит Десмод. — Может, пронесет вас. А меня-то они точно не пощадят. Полечу я.

— Куда?

— Пещеру свою искать.

— Ну, прощай, не поминай лихом. Только ты кровь-то не пей больше, ладно?

Ничего не ответил Десмод, только усмехнулся.

Взлетел, сделал круг прощальный над поляной — и исчез.

Часа не прошло — вдруг топот в лесу, словно стадо лосей взбесилось. Вся деревня бежит с дрекольем. Впереди попяра, отец Симеон. На брюхе крест, в руках топор. Тишка, как его увидела, сразу в яму забила за землянкой.

Выволокли мужики монаха из кельи. Поп допрашивать стал:

— Говори, бесов сын, будет святым прикидываться. Приютил диавола?

Встал монах на колени, склонил голову, молчит.

— Ага, — поп говорит. — Все видали? Кается. Что делать с ним будем, православные?

Мужики стоят, потупившись. Потом один вышел вперед, говорит:

— Батюшка, оставь его жить. Сам видишь: обморочил его сатана. А так святой жизни старец, все знают. Пусть его Бог судит. Его грех, его и молитвы.

— Ну, нет, — поп отвечает. — Не старец это. Дьявол-то куда подевался, а? Не мог он из своего гнезда просто так уйтить. Раз кровососа нет, значит сатанаил в монаха перекинулся. А вот мы сейчас посмотрим, какого цвета у него кровь.

Взял он топор покрепче правой рукой, другой сгреб монаха за грудки, и уже хотел было полоснуть его лезвием, но тут кинулась на него Тишка.

— Не тронь! — кричит по-человечьи.

Мужики в страхе расступились. Монах руками лицо закрыл. Один поп не растерялся:

— Ага, диавол! — орет, словно ждал этого. — Вот ты где окопался! Давно я про тебя знал! То кровососом, то псом черным! Ну, теперь не уйдешь! Ратуйте, православные!

Замахнулся он топором, Тишка отскочила, хотела бежать, да только куда — мужики кругом обступили. Тишка мечется

промеж них, а они ее сапогами пинают со всей силы, и крестятся при этом, как заведенные. Тишка так и летает от одного к другому.

Обессилела Тишка, упала. Подошел поп, крестом набрюшным перекрестил ее.

Потом топор поднял и одним ударом отсек ей голову.

Ахнули мужики, глядя на черную кровь.

Обернулся отец Симеон к монаху и говорит:

— Ладно, живи. Может, правы мужики: пусть тебя Бог судит. Главное дело, дьявола больше нет. Теперь только закопать его надо.

Взял отец Симеон Тишкино тело и пошел в лес, не оборачиваясь.

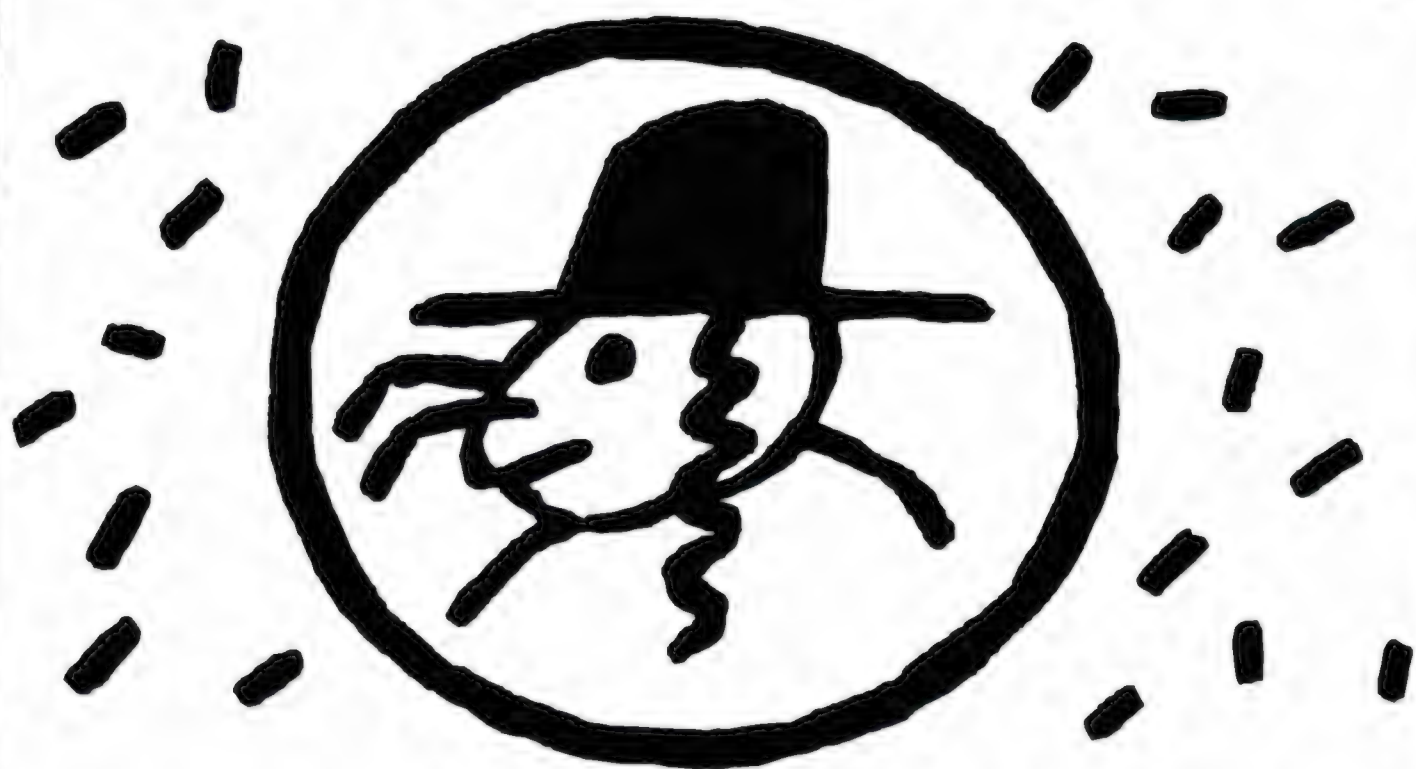
Закопал поп собаку в лесу, привалил камнем, перекрестился, пробормотал что-то. Писать ничего не стал.

А монах молился трое суток, пока не упал от усталости. Заснул. И приснилась ему Тишка.

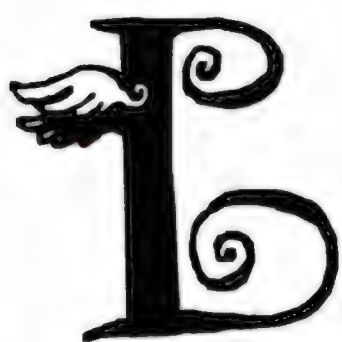
— Кто ты? — монах спрашивает. — Ангел ты или черт?

— А я сон твой, — говорит Тишка. — Ты спи, спи.

СКАЗКА



МОСКОВСКОМ
МУРАВЬЕ



том, что среди муравьев тоже есть евреи, профессор Владимир Ильич Мурашик убедился холодной зимой девяносто второго года, во времена смутные, голодные, почти ледниковые.

Заняться муравьями профессору пришлось так. Его родной институт эволюции вдруг оказался лишен заботы со стороны внешнего мира, и сразу до такой степени, что стало нечем кормить даже питающихся раз в месяц пиявок. Лаборатории пустели на глазах: сначала стали исчезать подопытные, а потом и сотрудники. Последние эксперименты трое бледных как мел ученых, которые еще оставались в насекомом секторе, провели на живших в институтской кухне обыкновенных рыжих муравьях. Вместо загадок эволюции теперь пришлось заняться загадкой ее отсутствия, ибо муравьи вот уже сто миллионов лет мало менялись в лучшую сторону. «Странно, но факт, — думал

профессор, — похоже, что у них никогда не было таких страшных катастроф, как та, что только что прокатилась у нас за окнами».

С наступлением февральских холодов здание перестали топить, и муравьи ушли. Изучать стало некого, оставалось только работать над собой, и ученые продолжали молча, в странном оцепенении сидеть на своих местах. Так длилось долго, до тех самых пор пока однажды вечером в институте не отключили свет. Как только угасли зеленые глаза приборов, все трое коллег Владимира Ильича поднялись с мест, посмотрели на него — глаза их как будто мерцали в темноте странным фосфорическим светом — и вдруг растаяли в воздухе.

— Не печальтесь... — успел шепнуть на прощанье ведущий научный сотрудник Гавриилов.

Профессор Мурашик как дарвинист в чудеса не верил, но как вежливый человек улыбнулся и кивнул головой — уже в пустоту.

Он остался совсем один во всем здании. Шаркающей, смешной походкой старый ученый торил тропу от бывшей кухни до бывшего туалета, по привычке стараясь ни на кого не наступить, и при этом втайне посмеивался над своей деликатностью. Как специалист, он прекрасно знал, что муравьев здесь нет и быть не может. Если бы даже какой-нибудь сумасшедший муравей и остался, то при такой температуре он проспал бы глубоким сном до мая месяца. «Да, конечно он спит, — убеждал себя профессор, кутаясь в старое пальто, — он спит и видит сны».

Вскоре вход в институт временно заколотили. Владимир Ильич отнесся к этому спокойно. Идти все равно было некуда, да ему и не хотелось никуда идти, а меньше всего — в свою запущенную квартиру. Бездетный вдовец, профессор давно

не имел ни друзей, ни желаний, а о тех простых потребностях, которые у него еще оставались, чудесным образом позаботился родной институт. В кухонном шкафу нашелся запас макаронных изделий «Звездочка» — из числа тех, что не едят никакие насекомые, в кране обнаружилась холодная вода, в лаборатории — немного спирта. Два раза в день он небольшими дозами подъедал макароны, сваренные на спиртовке, а потом подолгу сидел у окна, смотрел на заваленную сугробами Сретенку и думал о своей жизни.

В детстве и юности Володя Мурашик немало претерпел из-за своей ласково-уменьшительной фамилии. Злые дети переделывали ее самыми затейливыми способами: его называли то комарик, то кошмарик, то карасик, то матрасик. Они смеялись, а ему было совсем не смешно. Но настоящая пытка началась уже в зрелые годы. Когда он подрос, остепенился и приобрел право на отчество, то стал замечать, что в самое имя его то и дело вкрадывается злой, чужой, агрессивный голос.

— Владимир Ильич... — шипел этот голос — ...Мурашик.

Стоило говорящему сделать крошечную паузу между отчеством и фамилией — и с грохотом рушились основы советского общества. А Владимир Ильич совсем не хотел разрушать основы. Он был человек тихий — простой пешеход, из тех, кого поэт Окуджава когда-то ласково называл московскими муравьями. У него было странное чувство, когда рухнули основы, — ему казалось, что он в этом виноват.

Вспоминал он жену Машу, их первую встречу, когда она ошиблась дверью: позвонила в химчистку, чтобы сдать пальто, а попала к нему, жившему рядом, на первом этаже. Она растерянно поздоровалась, а он смотрел на нее, шевелил усиками и не мог вымолвить ни единого слова. Так, почти без слов, они и прожили душа в душу тридцать лет.

Профессор Мурашик молча обходил воображаемых муравьев и думал: «И все-таки они бегают... Один точно бегают... Вот так и я когда-то бегал взад-вперед, живую жизнь изучал. А жизнь-то, выходит, снилась».

Большую часть дня он лежал на кушетке в институтской кухне, подложив под голову толстый том мирмеколога Мордвилко и глядя на портреты бородатых эволюционистов, теснившиеся по стенам. Бородки были расположены в порядке убывания длины, и одно место в центре — как раз для него — было свободно. Странно, что это не бросалось в глаза раньше. А когда он засыпал, то видел сны, и сны эти с каждым днем становились все грустней и причудливей.

Поначалу чаще всего снилась Маша, и сон был всегда один и тот же. Во сне она была очень маленькая, совсем незаметная. Она проходила мимо тихо-тихо, потом оглядывалась, смотрела на него огромными зелеными глазами — и вдруг растворялась в зеркале. Часто снилась река, которую он никак не мог переплыть. Потом вдруг приснились коллеги по работе с ним-бами над головами.

А потом приснился муравей Кацнельсон.

Этот муравей забрался на травинку и качался на ветру. Рядом протекала небольшая мутная река с красивыми низкими берегами. Профессор сидел совершенно голый прямо на голой земле и внимательно смотрел на травинку и на муравья. Что-то такое было в этом муравье — в его раскачивании, в его грустных глазах — такое, отчего сжималось сердце.

Владимир Ильич отвернулся к реке и, чтобы успокоиться, попытался подумать о чем-нибудь вечном. Но мысли все равно сворачивали на муравьев. Легко ли быть муравьем? Жить в куче мусора, слушать ногами и усами, драться антеннами, никогда не спать. А как можно спать, если живешь всего пару

месяцев? И у муравьев тоже есть мировые проблемы, думал профессор. Войны, рабовладение, воровство, нелегальная эмиграция, даже наркомания. И зря люди думают, что все муравьи — труженики. В каждом муравейнике пятая часть граждан — тунеядцы и бездельники. Гораздо больше, чем у людей, между прочим. И такая жизнь длится почти целую вечность, миллионы лет. И миллионы лет — беспросветная темнота народа. Посмотрите, что происходит, когда жители муравейника отправляются на поиски лучшей доли. Рабочие тащат на себе целый зоопарк: клещи, тараканы, пауки, жуки, мухи, — на панцирях народа в новую жизнь переезжают все паразиты. Как у людей...

— Это не совсем так, — раздался в его мозгу тихий голос.

Профессор вздрогнул. Голос звучал совсем негромко, но он завораживал. В нем была искренность, простота и убежденность в чем-то необыкновенно важном. Владимир Ильич заткнул уши и, чтобы не сойти с ума, стал думать еще интенсивнее.

Люди называют родину матерью, но для них это только красивый образ, а для муравьев — нехитрая истина, просто потому, что мать у всех одна. И какова ее жизнь? Легко ли вечно просить пропитания у собственных неблагодарных детей? И рожать их, рожать, рожать — сто пятьдесят миллионов раз рожать. Жить среди сплошных родственников, работать с утра до вечера, чтобы муравейник рос любой ценой. Все для колонии! О, боже... А потом придут россомирмексы, хищные гады, убьют взрослых, а куколок заберут, чтобы вырастить из них рабов...

— Послушайте, ваша критика нашей цивилизации основана на одном очень важном недоразумении, — сказал печальный голос. — Все дело в том, что вы человек.

С этим следовало согласиться, и профессор кивнул. Отвечать он боялся, потому что отвечать муравью Кацнельсону означало только одно: безумие.

— Я, кажется, сейчас с ума сойду, — подумал профессор.

— Сойду! — эхом откликнулся муравей.

Ветер дунул сильнее, и, обернувшись, профессор Мурашик увидел, что травинка пуста. Он вздрогнул всем телом и открыл глаза. Реки не было, и вообще ничего не было. Над ним нависал белый потолок с трещиной, похожей на молнию, со стены укоризненно смотрели портреты. Владимир Ильич понял, что лежит навзничь прямо на ледяном полу в институтской кухне. Он заставил себя поднять правую руку и потянулся к чашке, лежавшей возле него на боку. Там мог остаться чай на донышке.

Но чая не оказалось: на дне пустой чашки сидел одинокий муравей.

— Здравствуйте еще раз, профессор! Вы меня помните?

— Да-да, помню, мы с вами где-то встречались. У вас еще какая-то простая еврейская фамилия... Кацман, Кацнер?

— Простая еврейская фамилия — это Кац. А я Кацнельсон. Муравей выбрался на край чашки и теперь смотрел прямо на Владимира Ильича большими грустными глазами.

— Простите, Кацнельсон, у меня, кажется, был обморок, а теперь голова идет кругом. Интересно, помню ли я еще, как меня самого зовут?

— Вас зовут Владимир Ильич Мурашик, и это очень печально.

— Я знаю.

Они помолчали немного, а потом профессор спросил:

— Послушайте, это не с вами я давеча говорил о социализме?

— Вы говорили с самим собой, но я вас, разумеется, слышал.

— Так вот, я не закончил свою мысль. Конечно, я сужу о вас с человеческой точки зрения, но, согласитесь, пора признать, что муравьиный социализм себя изжил. Каждая устремленная в будущее особь инстинктивно стремится к обособлению, хочет стать отдельной и независимой. Возвращение к роду — это всегда шаг назад. Не надо бояться нового, эволюция есть различие. Почему вы молчите, Кацнельсон? Вы согласны?

— Нет.

— Тогда спорьте!

— Зачем? Мне кажется, что перед смертью стоит заняться чем-то более важным, чем споры о том, как лучше устроиться в вашем жутком мире.

— Да, да, пожалуй, вы правы. Ну что ж, давайте говорить о важном. Хотите, я расскажу вам свой сон? Не сегодняшний, а тот, который снился мне до этого, почти каждый день. Вас, кстати, там еще не было, вам может быть интересно. Будете слушать?

— Ну, расскажите.

— Мне снилось, что ладья Харона утонула... Вы знаете, что такое ладья Харона?

— Не считайте меня идиотом, профессор. У меня три высших образования, — обиделся Кацнельсон.

Профессор дважды встряхнул головой, ущипнул себя за ляжку и посмотрел на муравья. Но тот и не думал исчезать.

— Так что вам там снилось насчет ладьи? — как ни в чем не бывало спросил он.

— Мне снилось, что ладья Харона утонула, а я один спасся. И я плыву к берегу по мутной реке, а вода такая тяжелая, что нужно прикладывать огромные усилия, чтобы раздвигать ее руками.

— У вас немного сил, профессор, — сочувственно кивнул муравей.

— Да, совсем немного. Поэтому я и тонул каждый раз. Тонул и просыпался вон там, на кушетке.

— Я вам сочувствую.

— Так вот, Кацнельсон, сегодня я выплыл. Понимаете? Я понял, что мне мешало. Мне следовало с самого начала оставить надежду на том берегу, в прежней жизни. И как только я это понял, я выплыл и вышел на низкий берег, совершенно пустой. Там росла только трава, точнее — несколько травинок, очень больших.

— Трава забвения?

— М-м... наверное. Я не очень разбираюсь в видах трав.

— Ну, а дальше я вам подскажу: на одной из травинок вы увидели муравья, не так ли?

— Совершенно верно.

— И вы проснулись от страха?

— Да. Послушайте, Кацнельсон, но ведь это были вы — я имею в виду, на травинке — это вы там раскачивались? Скажите, это были вы? А зачем вы это делали?

Муравей не ответил. Он пошевелил усиками и сказал:

— Какой-то у вас здесь запах шершавый...

— Это, наверное, макароны. Макаронные изделия «Звездочка», очень питательно. Вы ведь любите вареные макароны, Кацнельсон?

— Терпеть не могу.

— Жаль. Но вы мне не ответили...

— А вот мы всегда готовы поделиться пищей с товарищем. И не звездочкой, а полноценной пищей, пригодной для совместного выживания.

— К сожалению, мне больше нечего вам предложить.

— Так и не предлагайте!

— Но ведь вы же всеядны!

— Это вы всеядны. А мы не едим макарон. И не думаем о политике. И не ворошим свое прошлое.

— Кацнельсон, я вас очень прошу, ответьте — о чем был мой сон?

— Что же я могу вам ответить? Я не пророк и не толкователь снов, я простой московский муравей. И потом, ведь это был ваш сон, разве не так?

— Да, действительно, мой.

— Ну, значит, вы себя и видели во сне!

— Да... Кажется, это логично.

— Ничего это не логично. Но зато это правда. Без пищи и тепла, да еще в одиночестве, муравьи жить не могут.

— Да, не могут... Стоп, погодите, а как вы-то здесь оказались? Неужели топить начали?

— Успокойтесь, топить здесь никогда не начнут. И знаете почему? Потому что законы эволюции никого больше не интересуют. А это, между прочим, признак деградации. Вот давайте возьмем тараканов. Они прожили на земле гораздо дольше, чем мы с вами — триста миллионов лет — и при этом совершенно не изменились. Вот кто действительно не эволюционировал, профессор! Ведь это с точки зрения человека надо совершенствоваться, становиться все лучше, стремиться к Богу, стремиться стать богом. А с точки зрения таракана это совсем не нужно.

— Скажите, а с точки зрения муравья, куда надо стремиться?

— К другим муравьям, конечно. Повторяю вам: одинокий муравей выжить не может. У каждого свой муравейник, а в нем своя функция. Так захотела сама природа, поймите.

— Значит, я больше не нужен. У меня никого и ничего не осталось.

— Вам тяжело?

— Да нет, вы знаете, я теперь как-то не чувствую тяжести. Я стал совсем легким...

— А муравьи и не чувствуют тяжести. Это все людское.

— Но я-то не муравей. Я... не совсем муравей.

— Пахнете вы уже почти правильно. Успокойтесь, вы самый настоящий муравей.

— Я спокоен, спокоен... Но у меня есть еще один вопрос. Кацнельсон, скажите: как мне достойно умереть? Как умирают муравьи? Ведь не каждый остается в капле янтаря...

— Ну, профессор, о способах борьбы с нами вы должны знать как специалист. Например, дачники травят муравьев кипятком, дустом, керосином, огненной золой, чесноком, известью, табачной пылью, мочой, содой, шампунем, стиральным порошком, карбофосом с хлорофосом, головами копченой селедки и, наконец, препаратом «Дачник». Все на борьбу с Кацнельсоном!

— Не надо иронии, пожалуйста. Я спрашиваю, как достойно умереть?

— Ах, достойно! Ну, тогда я вам скажу. У нас не принято травмировать товарищей, и потому благородный муравей вечером тихонько уходит из гнезда, взлезает на травинку и, покачиваясь на ветру, ждет смерти.

— Да... Это хорошо. Я готов.

— Тогда закройте глаза, Владимир Ильич. Видите — мы уже вышли на берег и начинается ветер. Видите вы или не видите?

— Вижу.

— Теперь надо подняться наверх.

— Только вы, пожалуйста, первый, — попросил профессор.
— Как вам будет угодно. То есть что — первый?
— Поднимитесь наверх первым.
— А! Ну да, конечно, пожалуйста. Я полез. Но вы учтите — у каждого муравья своя травинка.

— Я свою уже выбрал. Послушайте, Кацнельсон, а можно вам задать напоследок еще один вопрос?

— Задавайте.

— Скажите, а я превращусь в муравья в другой жизни?

— Какие мелочи вас волнуют перед смертью — просто стыдно за человечество. Успокойтесь, вы превратитесь в устрицу.

Сцепившись усиками, они качались каждый на своей травинке и слышали, как над ними поет высокий хор. Берег был тих, река мутна и пустынна, и их нелепые фигуры казались дикими изваяниями среди ранних сумерек.





е так давно, прошедшей осенью, когда хозяева дачи уезжали в город, они забыли на книжной полке коробку с шахматами. Фигурам было скучно лежать без дела всю зиму — в конце концов, они были не медведи, а очень симпатичные, почти новые шахматные фигуры. И вот однажды ночью Черный и Белый Короли, устроившись рядышком в углу коробки, вступили в переговоры.

— Ваше Черное величество, — начал Белый Король. — Я рискую показаться невежливым, но не кажется ли вам, что ваша последняя победа надо мной имела причиной не столько ваши качества стратега, в которых, впрочем, никто не смеет усомниться, сколько направлявшую вас сверху на редкость умелую Божественную Руку?

— Ваше Белое величество, — усмехнулся Черный Король, — отсутствие света и воздуха плохо сказывается на ваших

умственных способностях, в существовании которых, впрочем, никто не смеет усомниться. Вы что же думаете: какая-то рука может направлять действия суверенного короля? Она всего лишь служит моей воле, помогая мне и моим подданным передвигаться в пределах разумного мира.

— Вы называете разумным миром ту доску, на которой мы вынуждены сражаться? Но помилуйте, ведь ее устройство крайне неразумно! Сражаться вообще неразумно, а уж этот мир устроен просто глупо. Посудите сами: он состоит из равного количества белых и черных клеток, но эти клетки перемешаны, и мои подданные занимают не белые поля, а все подряд, равно как и ваши вассалы. Скажите, Ваше Чернокнижие, не будет ли более разумным такое устройство: одна половина доски будет черной, и ее по праву займете вы, а другая — белой, и ее займу я. А посередине мы воздвигнем высокий забор, который не смогут перепрыгнуть даже наши кони!

— Ах, Ваше Белоручие, — отвечал Черный Король. — Ваша страсть к философии и демократическим реформам не только привела в полное расстройство ваше государство, но и была причиной целого ряда поражений, которые я имел честь вам нанести. Каждый раз, когда вас убивают, и я остаюсь один на доске, я стараюсь сдержать свою радость и понять причины постигшего вас несчастья, дабы не повторить ваших ошибок.

— Ваше Черномыслие, вашу наглость и бестактность может извинить только присутствие вашей очаровательной супруги, к которой, как вы знаете, лежит мое сердце, несмотря на то, что в последних трех партиях именно она наносила мне смертельные удары. Ее Черноглазие никогда не разделяла вашего черного шовинизма.

— Какой позор! Какая низость! — раздался вдруг из темноты хорошо всем знакомый голос — низкое контральто Белой

Королевы. — В моем присутствии признаваться в любви к чужой жене, к жене нашего врага, к нашей худшей врагине... О, слабый король! И это при всем дворе! При солдатах! Какой позор! Какая низость!

— Ну вот, — буркнул Белый Король. — Разбудили. Теперь до утра не успокоится. Несчастные мы властители...

— Это вы несчастный, — презрительно ответил Черный Король. — Потому что слабый и безответственный. Слава Правилам, я совершенно уверен в любви и преданности моей августейшей супруги. А вас она терпеть не может, что и доказывает уже три партии подряд. А за шовинизм вы еще ответите, сударь. В четыре хода ответите!

— Да как ты позволяешь с собой так обращаться?! — не унималась Белая Королева. — Король ты или сдвоенная пешка? Давно пора указать черным их место! А ну, вызывай его на бой и командуй подъем!

— Милая, сейчас три часа ночи. Кроме того, ты забываешь, что все Божественные Руки скрылись в неизвестном направлении и забрали с собой даже симпатичного пса Синуса, который имел обыкновение грызть твою голову. Хотел бы я знать, как ты собираешься играть, если тебя никто не направляет?

— Будем играть без всяких рук! Терпение лопнуло! Смерть черномазым! Подъем! Строиться!

В коробке началось хаотическое движение. Заспанные солдаты вскакивали и ударялись головами о крышку. Кони испуганно ржали. Неповоротливые лады поднимались и тут же падали, сбивая своих и чужих. Офицеры пытались навести порядок, но поскольку в темноте ничего не было видно, порядок не наводился, становилось только хуже.

— Ваши величества, что случилось? — раздался из дальнего угла мелодичный голосок Черной Королевы. — Я так сладко

спала. Мне снилось что-то испанское... Кажется, разменный вариант. Как будто я выхожу сразу на поле дэ-четыре, и тут... Ах, да не толкайте меня, вы, поручик! И уберите подальше эту лошадь, она брыкается! Что здесь происходит?

— Ничего страшного, моя милая, — браво ответил Черный Король. — Нас смертельно оскорбили, и теперь придется показать этим бледнолицым, кто в коробке хозяин. А ну-ка, всем молчать! — гаркнул он вдруг так, что все разом смолкли и застыли. — Солдаты, на крышку навались! Три-четыре!

Солдаты уперлись головами в крышку, но она не сдвинулась.

— Закружи на крюк! — догадался Белый Король. — Вот видишь, моя драгоценность, боев без Божественных Рук не бывает. В темноте драться нельзя, можно побить своих же солдат, или чего доброго, самого короля. А короля нельзя побить по конституции, то есть по Правилам.

— Несчастный трус! — взревела Белая Королева. — Я сама займу твое место! А ну-ка, белая армия, все ко мне, в этот конец коробки!

Белые фигуры ринулись на ее крик с такой поспешностью, что чуть не затоптали своего короля.

— А теперь все дружно! — командовала Белая Королева. — С этой стороны нет крюка. Бить головами по моей команде! Раз-два! Три-четыре!

Доска действительно была закрыта на крюк только с одной стороны, и под напором белых она стала поддаваться. С каждым ударом щель становилась все шире, и, наконец, крышка отлетела — с такой силой, что доска рухнула с полки. Фигуры в беспорядке рассыпались по полу.

— Ох, я чуть не убился! — причитал Белый Король. — Дорогая, сперва они меня чуть не затоптали. Лошадь проскакала

прямо по моей голове. А потом этот полет, удар — и опять головой! Нет, я совершенно не способен сейчас руководить войсками. Рокируйте меня куда-нибудь!

— Заморыш, — прошипела Белая Королева. — Если бы ты не был королем, я никогда бы за тебя не вышла, никогда! Становись на место! На шестом ходу уйдешь в угол, и чтоб я тебя больше не видела! Командуй построение, разиня! Не видишь, они уже стоят и ждут!

И действительно, черные под энергичным командованием своего короля уже разобрались по местам и грозно посматривали в сторону противника. Белый Король, кряхтя, полез на свое место, а за ним потянулись его воины.

Тем временем Черная Королева, совершенно ошарашенная внезапным пробуждением и полетом, говорила, прислонившись к своему повелителю:

— Ах, неужели нельзя было подождать до утра? Мне снился такой чудесный сон... И потом, милый, как ты собираешься командовать без всякой помощи свыше?

— Моя радость, ты вместе с войском уже столько раз ходила в походы на эти бледные поганки, что могла бы запомнить хоть несколько простых комбинаций. Помнишь ли ты детский мат?

— Разумеется, — пожала плечами Черная Королева. — Я помню даже испанскую партию до шестого хода. Именно на этом ходу вы меня и разбудили.

— Ну, тогда разыграем детский мат. Я же обещал этому недоумку, что он в четыре хода ответит мне за свои грубости.

Войска уже стояли друг против друга, поблескивая лаком в лунном свете. Обе армии казались совершенно одинаковыми, если не считать того, что в шеренге белых фигур выделялась голова Белой Королевы, обкусанная Синусом, а у черных

место одного из безвременно павших коней занимал спичечный коробок. Этот коробок уже почти освоился со своей ролью: скакал буквой «гэ» и даже пытался тихо ржать. Вот только говорить он не умел, потому что лошадям вообще говорить не полагается — даже в шахматах.

— Ну!.. — прошипела Белая Королева своему супругу. — Ты будешь командовать или нет?

— Дорогая, — растерянно молвил Белый Король, — но ты же знаешь, что мной всегда руководили сверху. Выбор дебюта — достаточно серьезный шаг, и мне бы хотелось подумать, поскольку...

— Урод! — прервала его королева. Она злобно топнула ногой, а потом со всей силы дала пинка стоящей перед ней пешке.

Пешка ошеломленно пробежала несколько шагов и остановилась на поле дэ-четыре. Первый ход был сделан.

— Пожелай мне счастья, любимая! — шепнул Черный Король своей королеве, а затем громко скомандовал: — Солдаты! Встретим врага грудью! Е-пять!

Черная пешка неторопливо, гордым шагом выступила вперед на две клетки и встала, выпятив грудь и с вызовом глядя на стоящую наискосок белую.

— Ешь! Бей! Хватай! — завопила Белая Королева. — Смерть черномазым!

Белая пешка послушно шагнула к черной, церемонно поклонилась и легонько ударила ее по плечу. Черная отдала поклон, четко повернулась налево и зашагала прочь с доски.

— Слава павшим героям! Победа будет за нами! — разносился голос Черного Короля. — А теперь твой ход, дорогая.

Черная Королева улыбнулась ему, поправила прическу и легко зашагала по черной диагонали к полю аш-четыре. Проходя

мимо солдата, одиноко стоявшего посреди доски, она замедлила ход и потрепала юношу по щеке.

— У, гадюка! — выругалась Белая Королева. — Погоди, мы тебе еще покажем, как надо обращаться с белым солдатом. Кони, вперед!

Услышав команду, обе белые лошади взвились на дыбы, дружно прыгнули через головы солдат — и тут же замерли в испуге. Правила были нарушены.

— Бараны! Ослы! — орала Белая Королева. — Сдай назад! — крикнула она лошади, стоявшей справа от нее.

Лошадь испуганно заржала и, не поворачиваясь, скакнула на прежнее место, чуть не убив при этом солдата, через которого она перепрыгивала.

— Ваш ход, поручик, — объявил Черный Король стоявшему рядом с ним офицеру. — Будете генералом. За черное дело, вперед!

Офицер отдал честь и зашагал к полю цэ-пять, печатая шаг, как на параде. Проходя мимо белого солдата, он даже не повернул головы.

— Ах, ваше благородие... — насмешливо протянула Белая Королева. — Ну, и у нас есть не хуже. А ну-ка, покажи им выправку! — Она пихнула локтем офицера, стоявшего слева от нее.

Офицер вздрогнул, козырнул и двинулся было строевым шагом по диагонали. Однако, увидев нацеленные на него со всех сторон угрожающие взгляды черных фигур, готовых следующим ходом ринуться на него, испугался, попятился — и встал прямо перед своей повелительницей, загородив ей проход.

— Ваше величество, туда нельзя, меня там съедят! — залепетал он.

Не успела Белая Королева открыть рот, чтобы обрушить на труса гром проклятий, как вдруг свершилось неслыханное.

Черная Королева легкой походкой проследовала к полю эф-два, игриво ткнула пальцем в живот испуганного белого солдатики и заняла его место.

— Мат! Вам мат, ваше величество! — кокетливо сказала она Белому Королю.

— Мне — мат? — удивился король. — Так быстро? Я еще не успел войти в игру, освоиться, так сказать. Впрочем, если дама настаивает, то я, конечно, подчиняюсь.

Довольный своей галантностью, он милостиво улыбнулся Черной Королеве и стал неуклюже слезать с доски.

В черном стане царило ликование. Все обнимались. Черного Короля собирались качать.

— И это король?! Пузырь! Тряпка! Без него обойдемся! Будет вам игра без правил! — в голосе Белой Королевы звучала настоящая ярость. — Белые, слушай мою команду! А ну, все дружно, за мной!! Черных — бить!!!

И, отпихнув трусливого офицера, она ринулась во вражеский стан. Белые фигуры толпой повалили за ней.

Порядки черных войск были смяты. Черная Королева, оставшаяся в тылу врага, с тихим стоном упала в обморок. Черный Король мужественно встал на пути превосходящего противника, но был тут же сбит с ног. Все остальное черное воинство в ужасе прыгало с доски и разбегалось кто куда, прячась по углам большой комнаты. Один только спичечный коробок беспомощно подпрыгивал на месте, не зная, что делать, и жалобно ржал.

— Взять его! — приказала Белая Королева, указывая на поверженного короля противника. — И эту мисс Вселенную тоже, — кивнула она на лежащую в обмороке Черную Королеву. —

И эту недолошадь возьмите, — показала она на коробок. — Пригодится!

Солдаты подняли Черную Королеву, отнесли ее к супругу, потом оттащили туда же побрякивающий от страха коробок, и встали вокруг пленных, ожидая дальнейших распоряжений.

— Но, моя милая, это же совсем ни на что не похоже, — слышался хнычущий голос Белого Короля. Он, тяжело дыша, взбирался обратно на доску, и вид у него был совершенно растерянный. — Это настоящий разбой! Я никак не могу потерпеть нарушения конституции, то есть Правил! Ты должна извиниться перед коллегами и...

— И этого взять! — рывкнула Белая Королева. — У, заморыш!

Солдаты стояли, потупившись. Арестовать своего короля — это было дело еще более неслыханное, чем игра без правил.

— Вы что, не поняли? Или вы хотите, чтобы вами всю жизнь командовал недоносок? Я теперь ваша хозяйка, и при мне вам будет принадлежать не какая-то там доска, а весь дом! Офицеры, шаг вперед!

Оба офицера дружно шагнули вперед, причем провинившийся поручик выступил гораздо дальше своего товарища.

— Приказываю вам арестовать короля-изменника!

Офицеры подхватили короля с двух сторон и впихнули его в группу арестованных.

— Ну что, Ваша Бледность, — с усмешкой обратился к нему Черный Король. — Доигрались в демократию? Двойной мат получается. Теперь-то вы понимаете всю пользу самодержавия?

— Ма-алчать! — гаркнула Белая Королева. — Слушать приговор сюда! За черноту и измену всех арестованных гадов изжарить на медленном огне в самом центре доски. А эту стерву, — указала она на Черную Королеву, — на очень медленном. Приговор понятен?

— Я надеюсь, что ты так шутишь, дорогая, — заметил Белый Король. — И где ты тут собираешься найти огонь?

— Сейчас увидишь, придурок. Всем следовать за мной. Ладьи первые, за ними вести арестованных, офицеры замыкают колонну. Пленных держать под ударом, возможны провокации! И коробок захватите. Пригодится!

И процессия двинулась к центру доски. Впереди гордо неслась своя недоеденную голову Белая Королева. За ней тяжело катились две ладьи, ведя в поводу коней. Следом, окруженные солдатами, шли пленники. Черный Король выступал гордым шагом, поддерживая под руку едва очнувшуюся супругу, а следом, горько рыдая, плелся низложенный Белый Король. За ним два офицера тащили упиравшийся коробок. Он слабо, но упорно ржал.

Из разных углов комнаты за ними следили глаза спрятавшихся черных фигур, но никто не решался не то, что прийти на выручку своим, но даже пикнуть — слишком грозный вид был у Белой Королевы.

Она вдруг остановилась, оглянулась по сторонам и радостно вскрикнула, указывая куда-то в темноту:

— Ага! Вот что нам нужно!

Королева быстро соскочила с доски, нырнула под шкаф и тут же появилась, толкая перед собой пыльный клубок ниток.

— Да помогите же мне! — Двое солдат сразу кинулись к ней. — Так, один встал на веревку, второй толкает клубок!

Солдаты подчинились. Нитка стала быстро разматываться.

— Хватит! — скомандовала Королева. — Теперь рвите!

Солдаты ухватили нитку, словно собираясь перетягивать канат, поднатужились, но у них, конечно, ничего не вышло.

— Дармоеды! — сказала Королева. — Коня сюда!

Одна из ладей подвела белого коня, испуганно косившего глазом. Королева сама подняла нитку и засунула ее в рот коню.

— Кусай! — рывкнула она.

Но конь только испуганно косился. Белая Королева размахнулась и вlepила ему удар снизу вверх под челюсть. Клацнули зубы. Нитка была перекушена.

— Она совсем с ума сошла, — тихо сказала Черная Королева. — Милый, как все это ужасно! Она даже животных мучает!

— Животные тоже ее мучили, — ответил Черный Король. — Вспомни Синуca. Держись, моя милая! Что бы ни случилось, мы должны умереть как короли!

— А я? Меня-то за что? — хныкал Белый Король. — За всю нашу супружескую жизнь я ей ни разу не во... во... возразил. Я старался быть справедливым, то... то... толерантным королем...

— Вот за это вас и зажарят, — презрительно ответил Черный Король. — Надо было править, а не болтать.

— Связать их! — приказала Белая Королева.

— И Коробка́ тоже? — услужливо осведомился провинившийся офицер.

— Ну ты и осел! — Белая Королева даже вздохнула. — Ты что не видишь, что у него рук-ног нет, непонятно даже, как он прыгает? Зачем его вязать-то? Ох, разжалую я тебя в лошади... Веревку возьми, сейчас я дам тебе шанс загладить вину перед твоей королевой. А плохо свяжешь — зажарю.

— Ах, как можно быть такой жестокой! — вздохнула Черная Королева.

— А мне ничуть не жаль этих бледнолицых, — пожал плечами ее непреклонный супруг.

Белый Король только всхлипывал.

Солдаты вязали трех царственных пленников, а офицер крепко затягивал узлы.

— Как следует, как следует вяжите! — прикрикивала Белая Королева. — А когда кончите — тащите сюда этот коробок! Я же говорила, что он нам пригодится. Сейчас мы разведем славный огонек. Жаль только, масла нет.

— Идиоты! — трагическим шепотом сказал Черный Король на ухо своей королеве.

— Что такое? — не поняла Королева.

— Они же сожгут всю доску, вот что! Ну и пусть! Погибать, так с музыкой, пусть и им будет не на чем играть!

Он даже повеселел от этой мысли.

Офицер тем временем затянул последний узел и двинулся к коробку. Но тот вдруг тонко заржал, скакнул в сторону, и, как бешеный конь, принялся скакать, рассыпая спички, по всей доске.

— Держите его, держите! Всех зажарю! — орала Белая Королева.

Все белое войско, бросив пленных, кинулось ловить коробок. Но поскольку он скакал буквой «гэ», его было очень трудно поймать. Как только солдаты подбирались к нему, он перепрыгивал через них и неся дальше безумными зигзагами. Так он соскочил с доски, пронесся через всю комнату и скрылся на веранде. Белое войско, напуганное криками своей королевы, сломя голову понеслось вслед за ним.

Белая Королева, вдоволь накричавшись, вдруг села на край доски и обхватила голову руками.

— Ой, что-то мне нехорошо, — пробормотала она. — Голова кружится... Сейчас отвалится...

— Что с ней? — испугалась Черная Королева.

— Голову потеряла! — обрадовался Черный Король. — Дооралась. Смотри, совсем отвалилась! Вот так удача!

Он набрал побольше воздуха и вдруг крикнул громовым голосом:

— Черные! Ко мне! Спасайте Черного Короля!

— И Белого... — пробормотал Белый Король.

Черные солдаты выскакивали из всех углов и неслись к своему повелителю. Они быстро развязали веревку.

— Строиться в боевые порядки! — командовал Черный Король. — Белую Королеву связать!

Солдаты вязали Белую Королеву. Белый Король снова плакал — на этот раз от радости.

Черные построились грозными рядами. В этот момент на пороге кухни появилось белое войско. Фигуры шли нестройной толпой и тащили за собой упиравшийся коробок. Увидев черных во всеоружии, а свою королеву связанной, белые в ужасе застыли.

— Черные, слушай мою команду! — приказал Черный Король. — На счет три — в атаку! Раз! Два!

— Пойдите! Пойдите! — закричал вдруг Белый Король. — Ваше величество, не надо больше крови! Давайте все решим миром! Я снова займу свое место, и теперь уж точно буду править самодержавно, честное королевское. Мы будем играть без королевы и, разумеется, только по конституции, то есть по Правилам.

Черный Король задумался. Белое войско стояло, понутив головы.

— Милый, ну давай их простим, — сказала Черная Королева. — В конце концов, они не виноваты, что у них была такая главнокомандующая. И даже она не виновата — если

бы Синус не покусал ей голову, она бы не нарушила Правил. И потом, если белых не будет — с кем мы станем играть?

— Хорошо, — сказал Черный Король. — Пожалуй, ты права, играть нам все равно надо. Но играть с белыми, когда у них нет королевы — это не благородно.

— Но как же быть? — спросил Белый Король. — Ведь если вы позволите моей дражайшей супруге вернуться в строй, все может повториться снова.

И тут Черному Королю пришла в голову гениальная мысль.

— А вот как быть, — сказал он. — Солдаты! Слушать приговор сюда! За героический поступок бывший Спичечный Коробок, исполнявший обязанности Черной Лошади, назначается Белой Королевой, и ему разрешается ходить по-королевски и даже говорить.

Все громко ахнули. Такой головокружительной карьеры не совершала еще ни одна проходная пешка.

— За нарушение всех правил, — продолжал Черный Король, — и покушение на зажаривание королевских особ бывшая Белая Королева лишается дара речи, измазывается грязью и назначается Черной Лошадью.

Все ахнули еще громче. Бывшая королева очнулась и вдруг слабым голосом произнесла:

— Ии-го-го!

— Вот так-то лучше. Первая партия начинается через минуту! — командовал Черный Король. — Всем построиться на доске! И не забудьте ее грязью измазать, — покосился он в сторону бывшей королевы.

Когда его приказ был исполнен, и фигуры снова выстроились, Белый Король обратился к стоящему рядом с ним Бывшему Коробку:

— Сударь... то есть сударыня. Вы готовы? Считаю своим долгом за ваш героический поступок предоставить вам почетное право выбрать первый ход. Командуйте! Смелее!

Коробок оглянулся вокруг с гордым видом, чуть подпрыгнул на месте — и вдруг заорал что было силы:

— Черных — бить!!!

ЗВЕЗДНЫЙ



БОБО

сказочная
повесть



Над бескрайним простором Азии, над огромным ее Восточным рынком воцарилась ночь, что казалась с земли черным бархатом без складок. Беспросветна была эта ночь для слабых глаз человека, только узкий лунный серп сиял им во тьме. Но если бы взглянул человек в могучее шайтанье око — в умную зрительную трубу, подаренную миру проникновенным Абд Аль-Хасаном — то увидел бы он: кипит черное небо, как Восточный рынок по пятницам.

Увидел бы он, как выются близ Земли мириады огней, словно стайки разноцветных мотыльков у драгоценной лампы. Вот танцуют золотые блески — это резвятся беспечные ангелы. А вот проносятся мимо них красные искры — это мелкие шайтаны спешат с поручениями от серьезных бесов к серьезным бесам. Увидел бы вооруженный глаз, как в страхе кидаются прочь от шайтанов робкие мотыльки-силаты, что порхают только вблизи Луны и спускаются передохнуть на ее серебряные поля. А ночь

длится, лунный серп забирается все выше и, кажется, уже на самый край неба поднялся он. Но нет у неба края — высоко, гораздо выше Луны, несутся красные искры. Они летят туда, где крошечные бесенята швыряют друг в друга ледышки-кометы и с хохотом ныряют в серные гейзеры кипящих планет. И еще выше летят — туда, где тишина и холод, где вечный ветер несет по кругу тихие души сорвавшихся с моста в рай. И еще выше — туда, где медленно и важно плывут во мгле синие ледяные планеты. А дальше нет пути, там, в совсем уже необозримой вышине, — горячие, тяжелые и неподвижные звезды, приют ифритов, над ними — облака гиацинтового газа, над ними — Великая Стена, а уже за ней, говорят, ближняя дача Аллаха.

Мелкий шайтан Бобоназаров лежал на земляном полу в своей каморке на Восточном рынке, глядел на звезды в окошке под потолком и тяжело вздыхал. Он знал: не бывать ему больше на небе, не мчаться в гуще бесовских легионов под разноцветными звездами. Вот уже год прошел с той ночи, когда отправили Бобоназарова в вечную ссылку. Ахнули силы небесные, когда сам могучий Джибрил взял шайтана за шиворот, сказал ему краткое, но крепкое слово и, широко размахнувшись, швырнул на Землю. Чиркнула по небосклону красная искорка — рухнул шайтан в пожарный водоем. А когда вылез на берег у самого рынка, то отряхнулся, как мокрая собачонка, лег на землю — и заскулил. Ибо знал шайтан Бобоназаров, как тернист путь низвергнутых на Землю: обычно они не имеют собственных домов и питаются запахом шаурмы.

Так бы и было с ним, если бы не милосердие великого Шаддада, демона второй категории и амира Восточного рынка. Пригрел амир ссыльного, дал ему достойную беса работу, дал одежду и обувь, дал зарплату и человеческий вид. И даже служебную жилплощадь дал — с видом на небо. Целый год честно служил шайтан амиру: разгонял мух на рынке, пугал толстых

прожорливых гулей, гонял худых и голодных русских чертей, и все у него было хорошо.

Все у него было хорошо, пока не встретил он сладкую Лейлу.

У амира была дочь Лейла, дева с вечно потупленными очами, которую никогда не касался ни человек, ни джинн, стройная, как дерево кипарис, что растет к югу от Восточного рынка. Каждый день ходила прекрасная Лейла через весь ароматный рынок за водой к чистому колодцу Хуляль. И вот увидел однажды шайтан Бобоназаров, как идет Лейла за водой к колодцу Хуляль, и сильно ударило ему в грудь его маленькое сердце. Девять дней молчал он, как рыба, лишь поскуливал, провожая взглядом легкую ее фигуру, а на десятый день обрел язык шайтана слова любви. И сказал шайтан:

— О!..

А больше ничего не сказал. Слишком кратко было слово любви, и с удивлением посмотрела на него прекрасная Лейла.

— Кто ты такой? — спросила она.

— Как ты прекрасна... — только и сумел выдохнуть он в ответ. Улыбнулась Лейла и поправила паранджу.

— Стало быть, ты шайтан, раз это видишь. У папы работаешь?

— Да, у папы твоего, слава ему.

— А категория у тебя какая?

Шайтан потупил взор и шепнул чуть слышно:

— Восьмая...

— Эй, не смущайся! — ободрила его Лейла. — Ну подумаешь, восьмая. В шайтане разве это главное?

Бобоназаров поднял голову.

— А что в шайтане главное? — спросил он с надеждой.

— Ну, как тебе сказать, чтобы ты понял?.. В шайтане самое главное — это демонизм. Понимаешь?

— Я понимаю. Да только нельзя мне злые дела делать, ссильный я. Даже летать теперь не могу.

— Ах ты, бедненький! — пожалела его Лейла.

— Но зато я превращаться могу в кого хочешь. Вот, смотри какой вид...

И Бобоназаров повернулся в профиль, чтобы возлюбленная смогла как следует рассмотреть его человеческий вид.

— Вижу, вижу... — улыбнулась Лейла. — Ну, и в кого ты так вырядился? Что это за клоун на тебе?

— Это не клоун, — обиженно сказал шайтан, наматывая локон на палец. — Это Майкл Джексон, певец такой красивый, с Западного рынка.

— Э... Все-таки ты не понимаешь. Ну вот смотри. Снаружи ты певец — молодой, красивый. А если посмотреть на тебя духовным взором, то сразу видно, что у тебя облезлый хвост и маленький пяточок. И пахнет от тебя бараньим салом и шайтаньим потом.

От слов жестокой красавицы шайтан покраснел так густо, так густо, что сразу стало ясно, что он не Майкл Джексон. Но что же делать? Ну не ходить же в поросячьем виде — с кругленьким пяточком и на кривых ножках? Эх, жизнь! Шайтан так расстроился, что даже произнес про себя заклинание, от которого черти проваливаются под землю. Но ничего у него, конечно, не вышло — нет силы у ссыльных.

А Лейла загадочно улыбнулась под своей паранджой и спросила:

— А как тебя зовут, Майкл Джексон?

— Бобоназаров, — шепнул шайтан.

— А по имени?

— Нурбобó. Можно просто Бобó.

— Послушай, Бобо... Ты ведь хочешь, чтобы я тебя любила, да?

На это шайтан ответил:

— О!..

А Лейла вдруг посмотрела на него с большим подозрением и приказала:

— А ну, скажи еще что-нибудь!

— Смотрящий на тебя не насытится! — с жаром выпалил шайтан. — Зачем сердце мое украла?

— Слушай, Бобо, давай договоримся: ты будешь говорить по-человечески, ладно? Ну что ты то мычишь, то каким-то звездным языком разговариваешь?

— Я думал, тебе понравится... — снова смутился шайтан.

— Ну, хорошо. Так ты хочешь, чтобы я тебя полюбила?

— Хочу!

— Тогда слушай меня внимательно. Я могла бы тебя полюбить, Бобо, если бы ты... Знаешь что?..

— Что?!

— Если бы ты мне достал... Знаешь кого?..

— Кого?!

Тут сладкая Лейла огляделась по сторонам, а потом наклонилась к самому уху шайтана, обдала его запахами рая и прошептала:

— Ёшкина-кота!..

Отодвинулась и посмотрела испытующе.

— А кто это? — оторопел шайтан. — Ёшкин — это из ёшек, что ли? С Западного рынка?

А Лейла улыбнулась мечтательно и ответила кратко:

— О!..

Шайтан подумал немного, а потом сказал:

— У меня важный вопрос возник. Зачем тебе Ёшкин-кот?

— А просто так. Я его буду гладить, гладить, гладить — до тех пор, пока мне скучно не станет. И вот тогда, Нурбобо Бобоназаров, приходи ко мне со своим «О!» — и я люблю тебя. Может быть.

Рассмеялась, подхватила свой кувшин и умчалась легкой побежкой газели.

* * *

А Бобоназаров поплелся к себе в каморку, лег там на земляной пол и уставился в небо. Даже на работу, мух разгонять, не пошел, так и лежал весь день неподвижно.

Сгустилась ночь, а шайтан все смотрел на звезды, шептал имя ночи — Лейла — и прожигали чужую землю шайтановы слезы. Лежал, мычал, мечтал и плакал. Только под самое утро, когда в глазах уже замелькали разноцветные искры, повернулся набок, подложил хвост под голову поудобнее и стал засыпать. Но как только слетел к нему первый легкий сон, как только поплыл у него над ресницами прелестный образ капризной красавицы — в этот самый миг разнесся на всю округу первый крик муэдзина.

И все на небе замерло, потускнело, побледнело и, чуть помедлив, погасло. Пропал Небесный Базар, проснулся Восточный рынок. Загудели машины, заревели ишаки, принялись прочищать свои глотки утренней перебранкой торговцы мылом, золотом, хашишем, персиком, халвой, гранатом и гранатометом.

— Э... — сказал сам себе шайтан. — Теперь не уснешь. Вставать пора!

Он встал, протер свой пяточок водой из чистого колодца Хуляль, причесал все свое маленькое тело, аккуратно почистил клыки зубной щеткой и открыл шкаф. У каждого шайтана есть дома такой шкаф: там висят на железных крюках человеческие обличья на любой вкус. Любой вид может принять сосланный на землю, вот только роста себе он прибавить не в силах.

Шайтан Бобоназаров вознес хвалу великому Шаддаду за его щедрость, а затем призадумался: что же надеть в такой важный день? Майкла Джексона сразу в угол зашвырнул, плюнул на него

и даже копытом его пнул. Долго думал, долго перебирал, а потом решительно натянул на себя Чарли Чаплина, бродягу такого смешного, улыбнулся сам себе в зеркало и вышел, играя тросточкой, на подметенные и обрызганные водой улицы Восточного рынка.

Путь шайтана лежал к Северным воротам. Надо было спросить совета у друга — что же теперь делать с этой любовью?

* * *

Джинн седьмой категории Ашмедай, охранник зала игровых автоматов, сидел на стуле у места своего служения и читал журнал «Рыбалка на Руси».

— А! Малыш Бобо! — обрадовался он, увидев шайтана. — Здравствуй, друг, ну куда ты пропал? А зачем такой бедный вид нацепил? Тебя, наверно, Шаддад, слава ему, с рынка погнал? Да шучу я, шучу. Ну, не грусти, брат, кому сейчас легко. Вот смотри, что умные люди пишут: рыба на Северо-Восточном рынке, пишут, гниет теперь не только с головы. Ты представляешь?

— Ашмедай, мне совет нужен, — тихо сказал Бобоназаров.

Охранник поправил служебную бирку на белоснежной рубаше, потрогал галстук, а потом вдруг ощерился, как зверь, и изо рта у него выкатились два острых клыка.

— Совет хочешь, да? — спросил он грозно. — А кровавую жертву ты мне принес?!

— Слушай, Ашмедай, ну мы же друзья, да? Ну какая такая кровавая жертва? Угомонись, брат, прошу тебя! Дай мне совет, ведь ты давно живешь на этой Земле.

Ашмедай тут же спрятал клыки и добродушно рассмеялся.

— Да шучу я, шучу. Ты, малыш Бобо, совсем шуток не понимаешь. Какой-то ты стал неправильный, словно и не демон совсем. Ты, наверно, влюбился, Бобо. Скажи, влюбился, да?

— Влюбился.

— Говори в кого, я любопытный.

— В Лейлу я влюбился, Ашмедай. В прекрасную сладкую Лейлу.

От этих слов смех мигом оборвался, и джинна перекосило сразу во все стороны.

— В дочку Шаддада, слава ему? Бобо, скажи, что ты шутишь!

— Эх, Ашмедай, Ашмедай... Шучу? Конечно, шучу. Забудь об этом.

— Уф... Нет, ты не шутишь, Бобо. Говори тише, пожалуйста. Ты же знаешь, что у игровых автоматов тоже бывают уши... А куда ты идешь так рано?

— Да вот, решил отпуск взять за свой счет. А может, совсем уволюсь.

— Уволишься? Слушай, а ты головой не стукнулся, когда падал, нет? Э... Брось дурить, служи Шаддаду. Шестую категорию дадут, хвост с кисточкой носить будешь!

— Не хочу я кисточку.

Ашмедай огляделся по сторонам, а потом наклонился и горячо зашептал Бобоназарову в самое ухо:

— Я знаю, чего ты хочешь, Бобо. Ты, наверно, думаешь — дочку замуж возьмешь, Шаддад тридцать процентов акций даст, да? А русский шиш ты не хочешь? Он тут планерку проводил, говорит: дочку мою не слушайте, у нее ум улетел, она мильто́нов каких-то начиталась... Какой такой мильтон — я не знаю. Но ты дальше слушай. Он потом говорит: а кто из вас на нее глаз свой положит — в желтую жабу превращу. Так и сказал!

И джинн сделал большие круглые глаза — точь-в-точь, как у желтой жабы.

— Мне все равно, Ашмедай, — ответил шайтан.

Охранник посмотрел на него, как на помешанного, и развел руками.

— Уф-ф... Ну, тогда я не знаю, что тебе сказать. Да что ты от меня-то хочешь, Бобо?

— Совета хочу. Мне силу вернуть надо, понимаешь? Ну хоть немного, хоть чуть-чуть. Без силы мне теперь не жить. Вот ты и скажи: кого из больших демонов надо просить, чтобы силой поделился?

Ашмедай оглянулся на игровые автоматы, почесал затылок невидимым хвостом, еще раз оглянулся — и принялся объяснять:

— Ну, ладно, слушай. Я тебе секрет скажу. наших демонов там наверху почти не осталось, всех скинули. Ты, наверно, думаешь, что ты один такой, да? Нет, почти всех наших, у кого большая сила была, Джибрил на Землю покидал, они теперь по разным рынкам прячутся. А западных демонов на небе давно нет, ёшки на своем рынке все силы собирают, потому что у них гонка вооружений. Всю Землю захватить хотят, гады!

И Ашмедай сплюнул в правую сторону.

— Так кто же наверху остался? — спросил Бобо.

— Там теперь русские командуют.

— Значит, русских просить надо?

— Э... Не так все просто. Попросить-то можно...

— А кто у русских самый сильный?

— погоди, еще секрет скажу. На этой Земле, Бобо, сила демона от призыва зависит. Ну, короче, чем чаще люди демона зовут, тем демон сильнее становится, понимаешь?

— Понимаю. А кого русские чаще всех зовут?

— У русских самые главные — демоница Айблад и архидемон Идинах. Но у них такой рейтинг, брат, такой рейтинг... На всех рынках их теперь призывают. Нет, Бобо, даже не проси

меня... Да и страшно же! Ты только представь, что к нам на рынок сама Айблад явится... Ай!..

И Ашмедай зажмурился.

— А этот... второй? — шепотом спросил шайтан.

— А этот второй вообще скрывается. Ушел куда-то и как в воду канул, никому уже целый год не являлся. Говорят, что он на Земле под другим именем живет. Но об этом — тссс!..

— Послушай, но ведь у русских есть демоны и поменьше, — осторожно приступил к самому главному Бобоназаров. — Вот я тут слышал на базаре, есть такой Ёшкин-кот. Говорят, демон такой небольшой, вроде нас с тобой...

— Вроде нас с тобой? Не обижай меня, брат. Ёшкин-кот — это что, демон? Это так, дух-помощник, тьфу на него. Он даже без категории совсем. А потом смотри, что пишут вот в этом толстом журнале: оказывается, год назад русские попы Ёшкина-кота заманили, в мешок его — и на Западный рынок продали!

— Русские попы? Почему ты все время смеешься надо мной, Ашмедай? Русские попы... Да кто у них кота купит?

— Мне не веришь, сам почитай. Вот, читай, что пишут, — и Ашмедай протянул другу журнал. — Вслух читай давай!

Бобо взял журнал и прочел на указанном месте:

— «Сегодня исполняется ровно год с того дня, как так называемый Ёшкин-кот был продан зеленому немецкому архидемону Ёшке-фишеру...»

— За миллион продали, — добавил Ашмедай. — Ты представляешь?

— А зачем фишеру такое дорогое домашнее животное? — с недоумением спросил Бобо.

— А затем, что этот кот — рыболов. Фишер рыбу ловить любит, прямо как я, а кот ему помогает. И знаешь, как они ловят? У-у, ты не знаешь, как. Дай сюда журнал! Сейчас найду...

Во. «Чис-то э-ко-ло-ги-чес-кая лов-ля ры-бы». Ты не согласишься, что они там творят! Вот, слушай, что пишут...

Ашмедай явно собирался прочесть по слогам всю статью про кота-рыболова, но Бобоназаров его перебил:

— Ашмедай, друг, скажи мне правду: а как туда попасть, к этим ёшкам? — выпалил он внезапно. Спросил — и сразу почувствовал, как ухнуло куда-то вниз его сердце.

Ашмедай посмотрел на него совсем не дружески, и изо рта у него снова показались клыки. Подрожали немного, потом спрятались.

— Бобо, давай помолчим вместе, — ответил джинн очень серьезно.

— Но ты их сам-то видел когда-нибудь, ёшек этих? Может, говорил с ними? — не отставал Бобо. Минутная слабость прошла, и теперь он чувствовал в себе готовность идти до конца.

— Говорил? Я? — изумился Ашмедай. — Я с ними не разговариваю, понял-нет? А если что, разговор короткий будет! Вот вчера ходил тут один...

— Ёшка? Торговец, наверно?

— Да уж наверно. Тоже все про больших демонов спрашивал, что да как.

— Ну и что?

— Ну, я его сожрал на всякий случай. А что? Шаддад разрешает. Э... Не о том ты думаешь, Бобо. Ты меня слушай. Я тебе скажу, что надо делать, если ты хочешь у русских демонов силы просить. Тебе русский муддарис нужен. Есть у нас на рынке один такой, Миша его зовут.

— Слушай, Ашмедай, ты меня совсем не уважаешь, да? Зачем шутишь все время? Как может быть русский муддарис?

— Э... Ты дослушай сначала. Это он теперь муддарис. А раньше он омон был, с воинами Аллаха сражался, медаль имеет. А когда пришел с войны к себе на русский рынок, то посмотрел

вокруг духовным взором — и сразу Айблад позвал. Потому что если посмотреть вокруг духовным взором, брат Бобо, то кругом одни ёшки. А бойцов нет. Нет бойцов, брат! Шаддад, слава ему, со всеми дружит, со всеми торгует. А попы — что русские, что наши — только кота в мешке на экспорт продают. И вот когда Михаил-баба́ все это понял, то он позвал Айблад. Что она ему сказала — я не знаю. Но как только он с ней поговорил, то достал финский нож, сделал себе чик-чик-о-ё-ёй — и встал за Русь правоверную. А потом сразу к нам на Восточный рынок перебежал. Да ты сам все увидишь. Ступай в баню!

— Какую еще баню?

— Ну, вон там, за воротами. Ну, на углу, где две собаки на солнышке греются, видишь? Он всегда в той бане сидит, в воде. Говорит, ёшки воды из чистого колодца Хуляль боятся. Правда, нет — я не знаю.

Бобоназаров опустил голову, задумчиво нарисовал тросточкой на песке знак вопроса, а потом решительно стер его неуклюжим своим башмаком и сказал:

— Ладно! Я схожу. А ты тут пока присмотри за мухами, будь другом.

— Хорошо, хорошо, ты не волнуйся, Бобо.

* * *

Муддарис Миша Евстигнеев сидел в ванне с горячей водой посреди пустого банного зала. На голове у мудреца была белая чалма с подвернутыми концами, в одной руке он держал наполовину обкусанный огурец, а в другой — толстую книгу.

— Учитель подобен хозяину дома, — читал он вслух с выражением, — а тот, кто хочет встать на прямой путь — его гость. Этот несчастный никогда и домов-то не видел. А теперь он входит в богатый дом и видит богатое место, предназначенное для сидения, и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, а это

что такое?» А хозяин отвечает гордо: «А это такое место, где сидят»...

В этот момент в дверь просунулась голова в котелке. Миша остановился.

— Блин, ну кого там опять шайтан принес? — сказал он недовольно. — Я же велел никого в баню не пускать!

Бобоназаров вежливо приподнял котелок, вышел бочком из-за двери и поклонился так, как кланяются только шейхам.

Миша усмехнулся.

— Ну, здравствуй, маленький человек! — сказал он совсем другим, важным тоном. — Сделай честь вон той пустой шайке — присядь на нее и скажи, как тебя зовут и чего ты хочешь.

— Моя фамилия Бобоназаров, достопочтеннейший баба́, и я хотел бы услышать совет твоей мудрости — как мне быть с моей горькой жизнью?

Сказав это, шайтан еще раз приподнял котелок, сел на краешек перевернутой шайки, сложил руки на животе в знак почтения и приготовился слушать, что скажет муддарис.

— Где-то я тебя уже видел, — задумчиво сказал Миша, оглядывая гостя. — Ты в кино, часом, не снимался?

— Нет, — ответил Бобоназаров, осторожно убирая невидимый человеку хвост подальше от шайки с кипятком. — Там, где я работаю, кино даже и не смотрят.

— Это хорошо, — кивнул муддарис. — Никогда не кушай ту дрянь, которую на Западном рынке пекут, и твоя жизнь станет слаще. Вот тебе и совет! Ты же хотел совета?

Сказав мудрость, Миша сразу подобрел и даже улыбнулся. Но тут взгляд его упал на шайтаний хвост, и улыбка исчезла. Он отложил книгу, протер глаза краем чалмы и посмотрел на хвост еще раз.

— А чего это у тебя? — спросил он, указывая пальцем.

— Это? Тросточка.

— Нет, не тросточка.

Мудрец наклонился, взял в руку хвост, пощупал его и повертел, осматривая со всех сторон.

— Я говорю вот про это. Про твой длинный, кривой и облезлый хвост.

— Как? Мудрейший видит его?! — подскочил Бобоназаров и попытался вырвать чувствительный предмет.

Миша еще раз помял хвост, а потом отпустил его и принял величественный вид.

— Да, я вижу несомненное доказательство твоей нечеловеческой природы, — сказал он важно. — Я, брат, уже семь лет ничего не пью — кроме воды из чистого колодца Хуляль, конечно. И потому если я вижу хвост, то это стопудово хвост. А как говорит достомудрый ибн Кассир, да услышат его золотые слова все нищие духом: протри глаза свои, и на одном из концов шайтаньего хвоста ты увидишь шайтана. Так что, выходит, ты шайтан и есть.

— Ты прав, о мудрейший. Я не человек. Я демон восьмой категории. Но твой совет мне очень-очень нужен — даже больше, чем людям.

Бобо съежился на своей шайке, ожидая самого худшего, и робко посмотрел на муддариса. Но, вопреки его ожиданиям, мускулистое лицо бывшего омона оставалось совершенно спокойным.

— Шайтан так шайтан, — равнодушно сказал Миша. — Шайтан не ёшка, чего вас бояться? Ну, рассказывай. Где ты тут обитаешь, если не секрет?

— Могут ли у меня быть секреты от шейха, который видит насквозь и людей, и джиннов? — с облегчением заговорил Бобо. — Я работаю здесь, на Восточном рынке, у Южных ворот.

— У Южных ворот? И что привело тебя в это нечистое место, где, впрочем, можно дешево купить «калашников»?

— Достопочтенный шейх знает и без меня: шайтанам полагается жить в местах, где грех стал обычным явлением... — потупился Бобоназаров. — Вот я и живу на базаре.

Миша недовольно покачал головой и погрозил ему недоеденным огурцом.

— Будь осмотрительнее в своих суждениях! — сказал он тоном сурового учителя. — Разве ты не знаешь, что в раю есть рынок, куда правоверные приходят каждую пятницу? А вот где ёшки будут добывать себе пищу после того, как их постигнет справедливая кара, в их книгах ничего не написано. Аминь. А кем ты работаешь?

— Ну, я... как бы это сказать... мухами занимаюсь.

— О! Значит, ты и есть повелитель мух?

— Выходит, что так.

Муддарис еще раз протер глаза.

— Гм... Но в чем же тогда твоя проблема, как говорят наши враги, да пожрет саранча всю их кукурузу?

Бобоназаров давно ждал этого вопроса. Он поднялся во весь свой крошечный рост, взгромоздился на шайку и раскинул руки в стороны.

— О мудрый, посмотри на меня духовным взором! — взволнованно заговорил он. — Я некрасив, и потому меня никогда не полюбит прекрасная Лейла. О, почему я не родился прекрасным земным юношей с благородным и страстным огнем в темных глазах? За какие такие грехи уродился я демоном, а потом еще пал на Землю и лишился сил? И вот теперь я влюбился и так горько мне стало, о мудрейший, так горько! Потому что как ни стараюсь я изменить свой облик, духовный взор несравненной все равно видит и мой облезлый хвост, и мой маленький пяточок. Сегодня сказала она про это, и жизнь сразу стала для меня горестней вкуса алоэ и отвратительнее запаха воды гассьяк. Дай же мне совет, кладезь мудрости, скажи — как

вернуть чудесную силу, что была у меня когда-то? Подскажи, кто из близких тебе могучих русских духов, слава им, мог бы помочь моему горю и как мне их об этом просить?

Сказав эту речь, самую длинную во всей своей жизни, Бобо поклонился, прижал руки к сильно бьющемуся сердцу и замер в ожидании.

— Вот это да! — крикнул Миша. — Ни разу в жизни не видел такого чувствительного шайтана.

Он оживился, положил огурец поверх книги и уселся повыше в своей ванне.

— Да ты сядь, сядь! И не трясись. Сейчас решим твой вопрос. Скажи-ка мне для начала, повелитель мух: а богата ли твоя возлюбленная?

— О мудрейший, разве ты не знаешь, что Лейла — дочь калифа Шаддада, который владеет семьюдесятью пятью процентами акций Восточного рынка?

Услышав это, Миша вдруг подскочил так, что на пол хлынул целый водопад мутной воды.

— Так ты что, про Шаддадову дочку мне тут заливаешь, косолапый?! — заревел он утробным голосом. — Про дочь этого ёшкина прихвостня, торгаша, который земной рай себе под хвост прибрать хотел?

— Ну, про рай я точно не знаю, я ведь здесь недавно, — забормотал Бобо, испуганно оглядываясь по сторонам. — Говорят, ему предлагали...

— Предлагали... Ёшки ему предлагали!

— Но он же отказался, — горячо вступился Бобо за своего благодетеля. — Он ведь что ответил? Говорит: ну куда я всех этих баб дену? У меня же семья... Нет, говорит, даром не надо!

— Даром ему не надо... — пробормотал муддарис сквозь зубы.

Он сдвинул чалму на лоб и прикрыл глаза мокрой рукой. Бобо понял, что шейх думает о вечном, и сразу успокоился. Он почтительно отвел глаза и стал ждать. Миша посидел молча минуты две, а потом поправил чалму, убрал с лица нехорошее выражение и снова принял величественный вид.

— Да, похоже, тебе не удастся соблазнить твою Лейлу мишурным богатством этого мира, — сказал он.

— Истина говорит устами шейха, — печально согласился Бобо.

Миша приставил палец ко лбу, подумал еще и вдруг навел этот палец, как дуло, прямо в лоб Бобоназарову.

— А ты вот что, — произнес он очень отчетливо, — ты на прямой путь вступи.

— Какой такой прямой путь?

— Прямой путь всегда один. Борьба с шайтаном.

— Да ведь я сам шайтан! — в отчаянии воздел руки Бобо, но тут же сник и добавил тихо: — Какой-никакой, а шайтан. Меня один раз даже камнями побить хотели.

— Это ничего, что ты шайтан, — успокоил его Миша. — Сейчас время такое — некогда разбираться, кто шайтан, кто не шайтан. Надо все здоровые силы на рынке собирать, понял-нет? Или мы, или ёшки. Ты вот шайтан. Это что значит? Это значит что ты не ёшка. И это главное. Но при этом в тебе есть недостаток. У тебя внутри маленький такой ёшка сидит, понимаешь? Почувствуй этого ёшку в себе — и сразу начинай с ним бороться! И тогда к тебе вернется сила.

Услышав, что сила может вернуться, Бобо от радости чуть не обнял муддариса.

— О, мудрейший! Я знал, что ты мне pomoжешь. Умоляю, скажи поскорей: как мне почувствовать в себе ёшку?

Миша посмотрел на него с подозрением: ему явно не понравилась радость шайтана. Он еще раз сдвинул чалму

на лоб, почесал в затылке, но потом все-таки принялся объяснять:

— Чтобы почувствовать в себе ёшку, ты должен вспомнить самую большую обиду в своей жизни. Вспомни своего злейшего врага — и ощетишься!

— Как это ощетишься?

— Духовно.

Шайтан закрыл глаза, напряг память — и вдруг живо представил, как его брезгливо, словно нагадившего котенка, брал за шиворот великий Джибрил. От этого воспоминания вся его шерсть стала дыбом, и человеческий вид сразу пропал. Теперь на шайке сидел не человек в котелке — сидело небольшое взъерошенное существо очень странного вида: с маленьким пяточком, с длинным хвостом и с копытцами, как у поросенка.

— Во, это уже лучше, — одобрительно сказал Миша. — Вспомнил?

— Вспомнил, учитель.

— А теперь представь себя самого на месте твоего врага.

Бобоназаров опять зажмурился и попробовал представить у себя за спиной огромные разноцветные пушистые крылья.

— Представил?

— Почти представил, учитель.

— А теперь сделай себе мысленно то самое зло, которое сделал тебе твой враг. И скажи про себя самое страшное слово, какое ты только знаешь. Тут большой выход энергии нужен, понимаешь?

Бобоназаров взял сам себя за шиворот и напрягся так, чтобы хватило сил швырнуть своего скрытого ёшку через всю Вселенную. Он набрал побольше воздуха, задержал дыхание, а потом вдруг рванулся вперед и завопил что было мочи:

— Айблад!!!

Краткое слово, словно пуля, ударило в высокий потолок и рикошетом защелкало по всему банному залу.

Стены задрожали.

— Отставить! — гаркнул Миша, как настоящий омон.

Он выскочил из ванны, прикрыл срам двумя руками и замер, уставившись вверх. По бане перекатывалось гулкое эхо.

— Отставить! Отставить. Отставить... — повторял муддарис таким тоном, словно уговаривал кого-то успокоиться.

А Бобоназаров без сил опустился на пол, не открывая глаз, и по лицу его начала медленно расплываться счастливая улыбка.

Прошла минута, но никто не появился.

— Ты что же это делаешь, диверсант? — обратился, наконец, Миша к шайтану. — Ты хоть понимаешь, кого ты позвал, дубина волосатая?

Бобо отпустил свой загринок, открыл глаза, сел на полу и с улыбкой посмотрел на шейха. Вид у него был взъерошенный и совершенно блаженный.

— Получилось... — прошептал он.

— Что у тебя получилось?

— Я силу почувствовал. Как будто от земли оторвался. Невысоко так, метра на два...

— А раньше не мог, что ли?

— Ссылным нельзя летать. Мудрейший, скажи мне скорей, что это было? Откуда у меня сила взялась?

— Откуда... От верблюда! Великая демоница тебя заметила, блин. Еще бы не заметить, когда так орут. Я же тебе сказал: про себя ругаться, про себя, понимаешь? Если бы не я, ты бы сейчас здесь жабой квакал за ложный вызов... Ну, все, хватит! Силу почувствовал, теперь вали отсюда и действуй!

— А что мне делать?

— Как что? Ёшек бить. Ты их теперь пяточком своим чувствовать должен. У вас на базаре чертова куча ёшек расплодилось, будто не знаешь? Давно пора там порядок навести...

— У нас? Ёшки? Нет, я никогда не видел. Наверно, торговцы приезжие. Ну ладно, я у Ашмедая спрошу.

— А это кто такой?

— А это демон один из охраны, друг мой. Он тоже с ёшками борется — как и вы, учитель.

— Да ты что? Почему не знаю? Ну, и как борется? Рассказывай!

— Ну, я не знаю... Он резкий такой, горячий, клыки вот такие. Как высунет их — только держись. Он свои эмоции сдерживать не умеет. Вчера вот ёшку одного сожрал ни за что...

— Как ты сказал? — внезапно нахмурился Миша. — Ни за что?

— Ну, то есть... Я хотел сказать...

Муддарис посмотрел на него так, словно впервые увидел, а потом вдруг ощерил редкие зубы и стал очень похож на Ашмедая. Он упер руки в бока и заорал:

— Как ты сказал? Ёшку ни за что сожрал?! Да ты не крутись, кучерявый, проговорился уже! В глаза мне смотреть, в глаза! Ага, все понятно. А я его тут учу, как дурак... Нет, нигде от вас не спрятаться! Одно спасение — в воде из колодца Хуляль сидеть.

Он злобно плюнул через правое плечо и полез обратно в свою ванну.

— Так вот почему многомудрый проводит так много времени в бане... — примирительным тоном сказал Бобо.

— Не только поэтому, — ответил Миша. — Я тебе сейчас объясню, почему.

С этими словами он наклонился, взял двумя руками шайку с кипятком и опрокинул ее шайтану прямо на хвост. Бобо

взвизгнул от страшной боли, вскочил и, жалобно поскуливая, завертелся на месте.

На лице муддариса не дрогнул ни один мускул.

— Правдиво сказано, — молвил он сурово, — что правильное омовение прогоняет шайтана. Иди отсюда, кучерявый, харе орать. Я тебя сразу раскусил. Иди, и скажи своим в синедрионе: Михаил-Али — не фрайер. Нутром вас чую! Ступай, и не забудь дать бакшиш гному, который на выходе сидит. Ходют тут всякие...

* * *

Ошпаренный шайтан ринулся к выходу огромными прыжками. У самых дверей он успел заметить какого-то коротышку с огненной бородой, вспомнил про бакшиш, но остановиться не смог. Он пронесся мимо стрелой — так, как, бывало, носился с поручениями в звездном небе.

— Стой! — заорал бородатый кассир. — Деньги давай!

Но Бобоназаров уже вылетел на улицу и, подвывая, заплясал на одном месте.

— Больно, больно, больно, больно... — причитал он, пытаясь поймать самого себя за хвост.

Гном живо выкатился следом на своих коротких ножках. В руках у него оказался пожарный топор, а в прищуренных глазках сверкала решимость пустить его в дело. Но, едва выйдя на крыльцо, банный страж вдруг замер, опустил оружие и согнулся в глубоком поклоне.

— Простите за беспокойство, почтенные, — вежливо сказал он кому-то, выпрямляясь. — А я и не знал, что вы его тут ждете. Ну, стало быть, этому шайтану сегодня будет бесплатная баня. Гы... Ну, ладно, ладно. Вы тут разбирайтесь, а я пойду пожалуй, с вашего разрешения.

Бобоназаров ухватил, наконец, свой несчастный хвост, прижал его к груди и с недоумением посмотрел на бородатого. Тот еще раз поклонился кому-то поверх шайтаньей головы, с усмешкой глянул на Бобо и, пятясь задом, исчез в темноте предбанника.

— Эй, помогите ему, что ли, — услышал шайтан у себя за спиной чей-то добродушный голос. — Ведь больно же, наверно.

Он обернулся, но никого не увидел. Улица была пуста, только две черные собаки лежали в пыли, положив серьезные морды на лапы, и молча глядели на него сквозь темные солнцезащитные очки.

Бобо вздрогнул и замер, на миг забыв о боли.

Пес, лежавший справа, не спеша поднялся, потянулся, подошел к нему и лизнул его в хвост. Боль отпустила сразу же, как по волшебству.

— Вы кто? — прошептал шайтан.

В ответ раздался хохот, доносившийся, казалось, с самого неба.

— Ой, не могу! — заливался смеющийся. — Вот дурень! Ты думаешь, тебе собака вот так возьмет и ответит: я — жучка, да?

Бобо узнал, наконец, этого весельчака.

— Милосердный повелитель? — спросил он дрожащим голосом.

— А ты как думал? Ты, наверно, думал так: рынок у нас бедный, денег на камеры наблюдения совсем нет, да? И потому ты можешь среди рабочего дня в баню пойти, а Шаддад тебе зарплату платить будет, да?

Шайтан грохнулся на колени.

— Прости, о амир! Бес попутал!

— Ладно, ладно, я тебя сейчас лично прощу. Эй, Харик, Марик! Ко мне его ведите!

Псы подняли головы к столбу, на котором Бобо только теперь заметил камеру, вытянули вперед передние лапы, потягиваясь, потом неспешно поднялись и заняли места впереди и позади шайтана. Убегать от них почему-то не хотелось.

Процессия двинулась обратно на рынок.

* * *

Великий Шаддад — толстый, как китайский божок, — сидел на ковре и держал на трех пальцах тонкую пиалу с дымящимся чаем. Амир был красен, словно только что вышел из бани, и на его лысине поблескивали созвездия крошечных капелек. В бункере было жарко, но шайтан чувствовал, как от повелителя тянет холодом. Если бы перед ним был не амир, а кондиционер, это было бы даже приятно. Но это был амир, и Бобо чувствовал, что от страха не может шевельнуть даже кончиком хвоста. Он ничего не видел, ничего не понимал, а только смотрел, как замороженный, на блистающий звездами череп и слышал долетавший откуда-то из космоса, ровный, как мушиное жужжание, добродушный голос Шаддада:

— ...Мухи все засрали. Вчера толстый гуль у Хамида всю бастурму сожрал, денег не заплатил. А ты в это время что делал? Хашиш кушал? Чего молчишь? Отвечай давай!

— Я на звезды смотрел... — услышал шайтан свой собственный голосок.

— На звезды? Ты мне, сынок, не лги. Днем дело было. Не надо мне лгать. Будешь лгать — в желтую жабу превращу! Шутка. На звезды он смотрел... А сегодня что — тоже на звезды?

— Уходил я ненадолго...

— Зачем ушел? Столько товара мухи испортили!

— Я Ашмедая просил за мухами присмотреть...

— Ашмедаю тоже будет на фундук. Из-за этого дурака с нами скоро никто торговать не захочет. Ему разрешишь пару

ёшек сожрать, а он весь рынок вычистит, как санитар. Ну, ладно, это все потом. Вот что я хочу тебе сказать, шайтан восьмой категории... У игровых автоматов есть уши.

Бобоназаров вздрогнул и разом очнулся. Кошмарный смысл слов повелителя сразу дошел до него, как хорошая порция хашиша, говорят, сразу доходит до мозга. Не страх, но ужас пронзил его до кончика хвоста. Он задрожал и опустил голову.

— Да... — вздохнул Шаддад, отставляя пиалу. — Все слышал, все знаю, работа у меня такая. Вот, значит, как получилось... Я тебя пригрел, я тебя одел, я тебя обул, я тебе работу хорошую дал, я тебе живые деньги плачу, а ты... Чем ты мне отплатил? Ты отплатил мне черной неблагодарностью. Ты положил свой тухлый глаз на мою козочку. Что молчишь, скажешь, не так?

— Не так! Совсем не так! — рванулся вперед Бобоназаров. — Позволь слово сказать, милосердный! Не глаз я положил! Сердце мое она украла! Смотрящий на нее не насытится!

Шаддад достал шелковый платок и промокнул лысину.

— Хм... Что-то жарко тут... Должно быть, к дождю. Марик, открой-ка дверь в подземную тюрьму, пожалуйста. Сердце украла, говоришь... Так ты что, полюбил ее, что ли?

— А как не полюбить ее, повелитель? Она вся такая — словно из халвы слеплена! А если я лгу, о милосердный, то вели своим черным слугам вывести меня за ворота и бросить в меня шестьдесят три камня средней величины!

Шаддад посмотрел на очкастых собак, еще раз промокнул лысину и сложил платок.

— Градусов сорок, наверно, будет... Н-да, похоже, что ты не лжешь. Я ведь тебя насквозь вижу, не хуже муддариса этого нехорошего. Как его зовут, кстати, я забыл?

— Михаил-баба. А что, в бане тоже есть камеры?

— В женский день отключаем. Нет, ты не лжешь... И работник ты усердный, давно пора кисточку давать... Так что же мне теперь с тобой делать, Нурбобо Бобоназаров?

— Сам решай, о амир. Не жить мне без нее! Уж лучше сразу в желтую жабу...

— Хм. Какой ты горячий, однако. В жабу — это мы успеем. А ты мне лучше вот что скажи, Бобо: что тебе Лейла-то ответила?

— Она мне одну вещь достать велела. А потом говорит, полюблю тебя... может быть.

Последние слова шайтан произнес совсем тихо.

— А что за вещь?

Бобоназаров потупился.

— Нельзя про это говорить. И не вещь это вовсе.

— Мне все можно. Говори правду: кого она тебе достать велела?

— Ёшкина-кота... — шепнул шайтан.

Он боялся, что от этих слов стены вдруг задрожат, как тогда в бане. Но ничего, не задрожали — подземелье все-таки. Все было спокойно, только повелитель крикнул и опять полез за платком. Он в третий раз промокнул звездный пот, а потом вдруг тяжело вздохнул и сказал совсем другим, усталым тоном:

— Эх... Беда мне с дочкой! Ты представляешь — я ей тут на пятнадцатую весну реактивного ишака подарил. С Западного рынка, новая модель, сумасшедших денег стоит. И что ты думаешь? Не катается! Не хочет — и все, хоть тресни. Ну ничем ей не угодишь!

Шайтан приободрился, а амир продолжал размышлять вслух:

— Вот теперь Ёшкина-кота ей подавай... Это ж надо такое удумать, а? Котов, что ли, мало на рынке? Ёшкина-кота! Да... Ну, делать нечего, малыш, ты давай, того, попробуй. Силенка в тебе теперь есть, спасибо муддарису этому нехорошему. Но трудно, трудно кота достать. Ведь это же на Западный рынок лететь надо, к самому фишеру! И ты вот что учти, Бобо: фишер

за деньги кота не отдаст. Говорят, привязался к нему сильно. Да и откуда у меня такие деньги, сам посуди?! Этот кот еще в прошлом году миллион стоил! А инфляция? А кризис? Нет, денег ты у меня даже не проси. А раз денег нет — значит, красть кота придется...

Амир оценивающе посмотрел на шайтана и спросил:

— А ты как сам-то, сынок, готов на Западный рынок лететь?

— Готов! А на чем лететь, амир? На метле?

— Зачем на метле? — удивился Шаддад. — На люфтваганзе полетишь. Билет я тебе, так и быть, оплачу. Отработаешь потом.

Шайтан рванулся вперед, чтобы поцеловать у повелителя милосердную руку, но Шаддад ее отдернул.

— Э... Брось, пожалуйста. Считай, что ты важное государственное задание выполняешь. Может, правда, кота достанешь — успокоится дочка. А то из-за ее капризов у меня тут не торговля, а революционная ситуация. Человеческий фактор недоволен, гули обнаглели, гномы шепчутся, муддарис этот нехороший воду мутит. Как на бочке с порохом живем. Короче, лети!

Бобо поклонился и направился к лестнице, но на полпути вдруг остановился, взглянул на повелителя исподлобья и сказал:

— Амир, у меня важный вопрос возник. А можно я с собой Ашмедая возьму?

— Еще чего! — Шаддада аж передернуло. — Ашмедая! Если этого дурака на Западный рынок пустить, мы потом сто лет с ёшками воевать будем.

— А что если ему... клыки удалить? — выпалил шайтан.

Амир вытаращил на него глаза, словно не понимая слов, а потом откинулся на подушки и захохотал. От сверкания его золотых зубов по потолку подземелья радостно заскакали солнечные зайчики. Хохотал милосердный так заразительно,

что Бобо, глядя на него, чуть не улыбнулся, чего при амире еще ни с одним бесом не случалось.

— Ой, не могу!.. — сказал, наконец, Шаддад, утирая слезы. — А у тебя светлая голова, шайтан восьмой категории. И как я сам не додумался? Давно пора этому хапуге, обжоре и нечестивцу такую простую операцию сделать. Но под наркозом, конечно, под наркозом, мы же не звери. Эй, Харик, Марик! Сегодня же Ашмедаю клыки вон! Только смотрите у меня, чтоб под наркозом, знаю я вас... А потом обоих их на люфтганзу посадите, и чтоб я больше о них не слышал. Уф, жарко-то как...

* * *

Никогда раньше не летал шайтан Бобоназаров на люфтганзе. Пока были силы, летал просто так, сам по себе. Бывало, только хлопнешь себя хвостом по спине — и уже летишь. Как стрела летишь, как молния, как ракета, как граната из гранатомета летишь — только звезды мелькают. Летишь сам по себе, и разлетаются в страхе робкие мотыльки-силаты, и дают дорогу золотые ангелы, и на всю вселенную разносится боевой клич лихого шайтана: «За-да-влю-ю!..» Эх, хорошо было!

А ссылка — она и есть ссылка. Сначала обыскивают тебя всего, даже под хвостом смотрят. Потом ведут куда-то по трубе и сажают в железный ящик с крыльями. Слева окошко небольшое, как в камерке на рынке, справа Ашмедай сидит, за щеку держится. Дальше какой-то толстый ёшка журнал про рыбалку читает. Ашмедай поначалу косился на него злобно, но затем понемногу разговорился, руками замахал, даже про клыки свои забыл. Потом подходит дева без всякой паранджи и ремнями всех пристегивает, чтобы не убежали. Потом смотришь в окно — а там облака, и солнце прямо в глаза светит. Это, значит, летим уже. Внизу сквозь дыры в облаках пестрый ковер видно. Потом кушать приносят — только мало и невкусно совсем. Слава

Шаддаду, со своего рынка кое-что прихватили. Только поели — кино начинают показывать. Ну, про кино лучше вообще промолчать: люди бесами прикидываются, рожи корчат, смотреть противно.

Бобо полистал дурацкий журнал про Западный рынок, посмотрел на облака, отхлебнул из интереса ёшкиной-бузы, которую недостойная дева принесла — совсем дрянь буза оказалась. Скучно стало. Тогда прислушался, о чем там Ашмедай с толстым соседом говорит.

— ...Какой же он фишер, если он рыбу не любит? — допытывался Ашмедай.

— Он любит, очень любит, — успокаивал его ёшка. — Он только есть ее не любит. А так он все живое любит — и рыбу, и птицу, и даже микроскопические организмы.

— Нет, ты мне зубы не заговаривай со своими организмами. Ты мне скажи: ловит он рыбу или не ловит?

— Ловит, ловит. Но только не так, как мы. Он ее ловит чисто экологически. Есть такое хорошее слово, дружище, ты его, наверно, и не слышал даже: «э-ко-логия».

— Я не слышал?! — набычился Ашмедай. — Да я этот твой ёшкин-журнал наизусть... А ты... Да я тебя... Ну, я тебе щас покажу!

Он быстро поправил галстук, раскрыл рот, но ощериться не получилось: челюсти свела такая боль, что даже слезы брызнули.

— Айблад!!! — заорал Ашмедай, хватаясь за щеку.

И тут самолет качнуло. Качнуло и закачало — с носа на хвост, с хвоста на нос, с крыла на крыло и обратно. Посыпался на пол засахаренный миндаль в уксусе, полетели сами собой куриные грудки без крыльев, поскакали по проходу все хорошие продукты, которые со своего рынка прихватили.

— Наш самолет вошел в зону турбулентности, — громко объявила дева. — Просим пристегнуть ремни и помолчать немного.

Железный ящик трясло со страшной силой. Бобо глянул в окошко и застыл от ужаса. Параллельно курсу люфтваффе летела огромная распущенная женщина. Ее заостренный шлем рассекал облака, как стратегическая ракета, ее длинные волосы бились по ветру, как флаг. Обувь ее была золотой, а одежды на ней почти совсем не было. Вокруг нее трещало электричество, и казалось, сам ледяной воздух снаружи покрывает и приговаривает, как русские: «Ну, баба!..»

— Айб... — шевельнул губами шайтан, но не договорил, зажал сам себе рот обеими руками.

Он зажмурился, вжался в кресло и больше уже ничего не видел и не слышал до тех пор, пока их не выпустили из самолета на Западном рынке.

Проверили во всех местах и пустили на площадь.

Ух, какая это была площадь! Повсюду шум, блеск, грохот, огни. Сверху крупные торговые дома нависают, а с остальных четырех сторон смерть на колесах туда-сюда носится: гудит, рычит, сбить хочет, — и все мимо, все мимо, как бешеная. А посреди площади омон стоит. Сам как истукан: толстый, страшный, и на поясе у него столько оружия навешано, сколько маленькому шайтану и двумя руками не поднять.

Бобо с Ашмедаем кое-как выбрались в тихое место, отдышались и стали думать, как дальше быть. Первым делом надо было ёшкиных-динаров из автомата добыть. Для этого Шаддад, слава ему, специальную карточку им дал. Автомат быстро нашли, он прямо на площади оказался. Ашмедай хотел было карточку в щель сунуть, но Бобо его в сторону отодвинул. Решил проверить: осталось ли хоть немного чудесной силы, или всё проклятая турбулентность растрясла? Ощетинился духовно,

представил сам себя могучим Джибрилом, автомат — мелким бесом, взял его за выпуклую часть и приказал кратко, но сурово: «Доись!» Только автомат не послушался. Вместо того, чтобы денег дать, он вдруг заверещал, как испуганный ишак, и огнями замигал. Тут же вокруг толпа ёшек выросла. Станные они, ёшки: не кричат, не свистят — стоят и смотрят молча, что дальше будет. Бобо с Ашмедаем побежали поскорей прочь, пока омон не замел. Покружили немного вокруг площади, потом нашли на тихой улице другой автомат. Тут уже Ашмедай шайтана в сторону отодвинул. Сунули карточку, стали ждать. Автомат карточку съел, а потом говорит нечеловеческим голосом: «Введите ваш пин».

Бобоназарова аж затрясло.

— Слушай, что эта ёшкина железяка себе позволяет, а?

Ашмедай в ответ поднес ему кулак к самому пятаку и сказал убедительным голосом:

— Бобо, ты остынь, пожалуйста, а то мы без денег останемся. Ты лучше меня слушай. Пин — это когда пальцем нажимать надо, понял-нет?

С этими словами джинн распрямил на кулаке один палец, отстучал на автомате три семерки, потом еще одну кнопку нажал — и выдала железяка, как миленькая, ёшкины-динары.

— Учись! — гордо сказал Ашмедай. — Недаром я полжизни при автоматах провел.

Бобо обратил свое лицо к востоку и вознес хвалу великому Шаддаду за его щедрость. Ашмедай же промолчал, только щеку потрогал.

Остановили желтую машину и велели шоферу в одну звезду ехать, как амир учил. Но шофер с Южного рынка оказался, в тюрбане, совсем ничего понимать не хотел. Два часа по задворкам кружили-кружили — наконец, нашли одну звезду. Висит звезда на трехэтажном сарае, а на вывеске зачем-то Айблад нарисована. А кругом нескромные девы стоят.

Бобоназарова опять затрясло.

— Слушай, Ашмедай, мы что, в таком нехорошем месте жить будем, да?

Ашмедай уже и кулаков не показывал, только вздохнул.

— Бобо, давай договоримся: на этом рынке ты будешь меня слушаться, как утенок свою мамочку. А то пропадем из-за тебя совсем и кота не добудем. Ты хоть помнишь, зачем мы приехали?

— Помню... Ладно, делай, как знаешь.

Ашмедай вошел в сарай с гордым видом, надул щеки и пачку динаров хозяину показал. Тот сразу поклонился обоим, как шейхам, и повел в комнату.

Комната под самой крышей оказалась. Посередине широкая кровать стоит, на правой ее половине лежит зачем-то белая роза, по сторонам кровати две тумбы, а в углу за занавеской — большой фонтан для питья. Еще вверху, под потолком, окошко, а из него — вид на серое небо.

Бобо с Ашмедаем отдохнули немного, куриные грудки докушали, а вечером сняли с себя дорожные обличия (торговцами лететь пришлось), нарядились простыми ёшками и пошли по улицам гулять.

Рынок большой, богатый, ничего не скажешь. Мух нет. Ёшки все сытые, важные, ходят неспешно, разговаривают спокойно. В общем, живи — не хочу. Только вот торгуют везде такой дрянью, такой дрянью, что шайтан все время глаза отводил. То выставят на витрину женскую одежду, которую он только на Айблад видел, то противную ёшкину-бузу в бутылках с цветными наклейками. А самое недостойное — это девы. Все как одна лица показывают! Бобо сначала с потупленным взором ходил, а потом все-таки решил рассмотреть их как следует. Забрался в одной лавке в примерочную, занавеску чуть-чуть отодвинул и стал наблюдать. И вот тут понял наконец шайтан Бобоназаров,

почему западная дева лица не прячет. Потому что посмотришь на нее один раз — и больше смотреть не захочешь. Ни одна на полную луну не похожа, ни у одной взор не опущен, ни у одной брови не сходятся. Зато у всех спереди глаза разноцветные во все стороны зыркают, добычу ищут, а сзади попа из штанов наполовину торчит, чтобы в мужчине страсть заволновалась. Плюнул Бобо прямо на пол в примерочной и хотел уже было на них великую демоницу призвать. Но потом глянул в зеркало, вспомнил про сладкую Лейлу, приостыл и сказал сам себе: «Э... Не о том ты думаешь, демон восьмой категории. Надо нам кота искать».

Но в тот вечер кота искать уже никаких сил не осталось. Утомила шайтана прогулка по бесстыжему рынку. Решил, что котом с утра займется, а сейчас надо в одну звезду идти — сил набираться. А вот Ашмедай, тот спать не пошел. Сказал, что еще по рынку погуляет, про фишера расспросит. А заодно, говорит, поищу-ка я все-таки луноликую деву по здешним духанам — чисто из любопытства. Бобо только головой покачал: эх, что Западный рынок с серьезными бесами делает... Ну, обнялись и расстались до утра.

Пришел Бобо в номер, прилег на широкую мягкую кровать, понюхал розочку и вздохнул свободно, предвкушая сладкий сон. Но никак не хотел слетать в эту ночь к нему сладкий сон, хоть плачь. Только глаза закроешь — и сразу чудища изо всех углов наползают. То Михаил-баба с полной шайкой кипятка к хвосту подбирается, то Айблад в высоких сапогах удочку закидывает — его, шайтана, ловить. А то вылезет из озера зеленый Ёшка-фишер с такой харей, с такой харей, что даже бесстыжие девы, которые вокруг этого фишера плавают, гуриями покажутся. Бегаешь от них, бегаешь — но ведь так всю ночь пробегать можно! Нет, лучше не спать совсем.

Бобо открыл глаза, посмотрел наверх, в окошко — и сразу забыл и про фишера, и про гурий. Звезды-то, звезды — совсем

не такие, как у нас! Плывут по небу, весело раскачиваясь, золотые и серебряные шары, вспыхивают между ними разноцветные огоньки, и все искрится, сверкает, будто сверху блестящей мишуры накидали. Красиво — слов нет! Но только почему на всем небе ни одной живой души не видно? Ни одного ангела, ни одного беса, как глаза ни щурь...

Пусто на Западном небе. Ни во что, значит, ёшки уже не верят.

* * *

Еще светать не начинало, а Ашмедай уже явился. Пришел веселый: качается во все стороны, как во время турбулентности, и пахнет ёшкиной-бузой. На плече большая сумка болтается, а на лице беззубая улыбка расплылась.

— Ашмедай, ты что, ёшкину-бузу пил?

— Ну, пил.

— Зачем, Ашмедай? Гадость же.

— Ай, Бобо, ну какой ты нудный!.. Я наших встретил, с Восточного рынка. Ты представляешь, десять лет тут живут — и ничего! Все толстые, все довольные, а у одного даже рыбная лавка есть! Вот ты бы вместо того, чтобы зудеть, послушал, что я у них про фишера узнал.

— Узнал? Так говори скорее!

Ашмедай разлегся на кровати и принялся не спеша объяснять:

— Ну, слушай. Ёшка-фишер, оказывается, во дворце живет. Большой дворец, старинный, вокруг парк тоже старинный, в парке истуканы стоят, тоже старинные...

— Я тебя убью сейчас, Ашмедай!

— погоди. А посреди парка озеро, чтобы одну рыбу ловить.

— Как так одну рыбу?

— Погоди. От дворца к озеру спускается лестница — тоже старинная, широкая, вся из мрамора. В парк никого не пускают, вокруг решетка идет, тоже старинная. Но через решетку, говорят, видно: каждое утро, как только взойдет солнце, по этой лестнице спускается Ёшкин-кот с сачком и ведерком. Сачок в озеро опускает — и одну рыбу вытаскивает.

— Да как так одну рыбу? Одну и ту же, что ли?

— Ну да, там в озере всего одна рыба живет. Очень старинная рыба, говорят, и очень умная. Сама в сачок идет, потому что привыкла уже, ты представляешь?

— А как же она обратно попадает?

— А вот слушай. Кот эту рыбу к фишеру во дворец относит и пускает в аквариум. А фишер с этой рыбой какие-то важные дела обсуждает. Ну кормят ее там, конечно. А как вечер наступает — фишер дно у аквариума выдвигает, и одна рыба по специальному желобу назад в озеро плывет — ночевать.

— А зачем все это?

— Ох, не знаю. Они такие слова говорили, что я не понял ничего. Э-ко-ло-ги-чес-кая рыбалка, говорят.

— Ты меня совсем запутал, Ашмедай. Ты мне одно только скажи: как этого кота поймать?

Ашмедай встал с кровати, потянулся, посмотрел наверх, в окошко, и ответил лениво:

— На озере кота ловить надо, рано утром. В другое время до него не доберешься.

— А как мы туда попадем?

— Э... Что бы ты без меня делал, Бобо, а? Ну, слушай. Ты летать хоть чуть-чуть можешь?

Шайтан почесал хвостом в затылке.

— Немного могу, пожалуй. Только далеко не получится. А что?

— Короче, рано утром, на рассвете, мы подходим к старинной решетке. Ты берешь меня в охапку, перелетаешь через

решетку и — нырь в озеро! Потом вылезаем, отряхиваемся, прячемся за истуканами и ждем кота. Как только спускается кот, мы на него — раз! — накидываем с двух сторон рыболовные сети. Накинули — и сразу в мешок, он и мяукнуть не успеет. А потом назад через забор — и ходу. Ну, как тебе план?

Бобо задумался.

— Через забор-то я перелечу, наверно, если захотеть очень сильно... Слушай, Ашмедай, а может, я один, без тебя, а? Ну как я назад с такой ношей выберусь — и ты, и кот? Он ведь жирный, наверно, отъелся тут.

Ашмедай поправил галстук и принял гордую позу.

— Об этом ты можешь не беспокоиться, брат, — торжественно объявил он. — Назад ты только с котом полетишь. А я во дворце останусь.

— Как так останешься? Ты опять шутишь надо мной?

— Нет, Бобо, я не шучу.

— Да тебя там съедят!

— Не съедят. И знаешь, почему? Потому что я прикинусь этим самым котом, понял-нет?

И джинн жизнерадостно захохотал, но тут же смолк и схватился за щеку.

— Да что ты такое говоришь, Ашмедай? — изумился Бобо. — Ты у ёшек котом работать будешь? Да ты же всю жизнь их ненавидел!

— Э... о чем вспомнил. Пока клыки были — ненавидел. А теперь я понимаю, что к чему. Нет, уж лучше ёшки, чем автоматы с ушами. Все, хватит чужое добро сторожить! Поработаю котом, скоплю тыщ пять динаров, а потом рыбную лавку открою. Рыбная лавка Ёшкина-кота, ты представляешь?! Со всех рынков приезжать будут, чтобы только посмотреть! А Шаддад, слава ему, будет знать, как у верных бесов клыки удалять без наркоза...

— Как?! Он же велел с наркозом!

— А ты откуда знаешь?

— Ну... слышал случайно. Значит, эти собаки тебе без наркоза выдрали?

— Собаки и есть, что с них взять. Все, хватит о собаках болтать, пошли за котом!

— Прямо сейчас?

— А ты как думал? Скоро светать начнет. Вот, смотри, я и сети достал.

И Ашмедай показал на свою сумку.

* * *

Пошли через весь рынок пешком. Прятались, к домам жались, но по дороге ни одного ёшки не встретили — наверно, все дрыхли еще.

Подошли к чугунной решетке у дворца. Бобо ухватил Ашмедая за шиворот, глаза закрыл и ошетинился духовно. Но дальше как-то не пошло. Попробовал Джибрила себе представить — ничего не выходит. Напрягся посильнее, стал фишера представлять, который ночью являлся — нет, не получается, только холодным потом весь покрылся. Тогда собрался шайтан с духом и представил себе Мишу-муддариса с шайкой кипятка в руках. И вдруг почувствовал — тянет ввысь, ох, как тянет!

Оттолкнулся — и перелетел.

Очень удачно в воду войти получилось, почти без брызг, даже водоплавающих птиц, которые у самой воды спали, не разбудили. Вылезли потихоньку на гранитный берег, отряхнулись, огляделись. Да, все правильно, все так, как бывшие наши рассказывали. На холме дворец с колоннами высится — огромный, как город, и весь зеленый. От него широкая белая лестница вниз идет и в озеро упирается. А у самой воды стоят на постаментах два каменных младенца с несерьезными крыльями, как у мотыльков. Сами пухлые, жирные — Бобо таких на небе никогда не видел. Ангелы — они обычно поджарые бывают.

Ну неважно. Толстые — это даже лучше, прятаться удобнее. Ашмедай за левым встал, Бобо — за правым.

Стали кота ждать.

А осень в ёшкином парке очень красивая оказалась. Деревья чуть видны в тумане. Слетит бесшумно красный лист с зазубринами, опишет круг, ляжет на воду, задрожит, как детская душа, — и замрет. В воде истуканы вниз головами стоят неподвижно, не шевелятся, а между ними, в глубине, одна рыба проплывает.

— Хорошо тут, — сказал Ашмедай. — Тихо... Прямо как в раю.

— А ты в раю бывал?

— Бывал. Там с утра такой же туман...

Помолчали немного, глядя, как еще один лист на воду ложится.

— А за что тебя выгнали из рая? — спросил Бобо.

— Никто меня не выгонял, я сам ушел, — гордо ответил Ашмедай. — Я же молодой был, горячий, на войну рвался, а меня там кассиром в бане назначили. Ну, и с кем мне было воевать? С чистыми душами, что ли? Вот я и решил уволняться. Поскандалил немного насчет зарплаты, кувшины с розовой водой побил и пал на Землю. А на Земле сам видишь, как все вышло. Сперва к игральным автоматам приставили, а потом и вовсе клыков лишили. Всего только восемь ёшек и успел сожрать — вот и вся моя жизнь...

— Тихо! Кот идет. Скорее, сеть доставай!

— Ты тоже доставай!

* * *

На верхней площадке лестницы появился Ёшкин-кот.

Разглядеть его снизу было трудно, видно было только, что выступает он важно, на задних лапах, а в передних у него —

огромное ведро и здоровенный рыболовный сачок. И еще одна вещь сразу в глаза бросилась — цвет. Кот был не просто рыжий, а какой-то невиданной расцветки: оранжево-красный, как самый дорогой мандарин на Восточном рынке. Теперь понял Бобо, почему фишер за домашнее животное такие деньги отдал.

Но вот кот стал спускаться по лестнице, и с каждым его шагом глаза у бесов потихоньку округлялись, а сами они каменели так, будто на них медленно наматывали веревку. Нет, это был не мандарин, это был не апельсин, не грейпфрут, не арбуз даже, это была настоящая звезда красный гигант! Огромен и могуч предстал перед бесами Ёшкин-кот: ростом он был не меньше великого Джигрилы, только что без пушистых крыльев. Такого сетью ловить — все равно, что в Айблад из гранатомета стрелять. А если и поймашь — куда его потом девать? Какой уж там мешок... Бобо в страхе за голову схватился, а в голове важный вопрос возник: а как это, интересно, сладкая Лейла такого вот кота гладить собиралась? Но думать уже некогда было: кот приближался к пруду.

Как только он оказался между ангелами, Ашмедай ощерил беззубый рот и отчаянно махнул хвостом.

Две шелковые сети разом взвились в воздух.

Но зря они взвились: кот оказался ловок, как бес. Он отскочил назад, будто резиновый мячик от стенки, подцепил своим сачком обе сети, раскрутил этот сачок над головой — и закинул в воду сети вместе с вцепившимися в них демонами. Водоплавающие птицы проснулись и заорали от ужаса, а Бобо с Ашмедаем попадали в озеро, поднимая тучу брызг. Охнуть они смогли, только когда вынырнули на поверхность.

Кот основательно уселся на парапет, положил рядом с собой сачок, пригладил усы обеими лапами и принялся не спеша, размеренными движениями выбирать сети. Незадачливые

ловцы, отфыркиваясь, как два тюленя, стали приближаться к берегу. Когда они оказались совсем близко, кот наклонился, ловко распутал сети, взял демонов за шивороты, слегка прополоскал и поднял на воздух, прямо к своей раскрытой пасти.

Бесы зажмурились.

— Ну вот, порыбачил, — слышали они мурлыкающий голос. — Улов, правда, так себе, всего два мокрых мыша. Да и мыши какие-то тощие... — тут кот их пощупал и повертел, осматривая со всех сторон. — Хм. Мыши копытного типа. С пяточками. И пяточки как будто знакомые... Вы не с Восточного рынка, ребята?

Бобо с Ашмедаем не отвечали ни слова, они только жадно хватали ртами воздух. Видя, что добыча к беседе пока не готова, богатырский кот усадил пленников рядом с собой на парапет.

— Ну, подышите, подышите, — милостиво сказал он. — Подышите пока что. Утро-то какое хорошее! Солнце восходит, водоплавающие птицы поют, рыба наша хвостом плещет. Все живое радуется новому дню. Только вы одни портите людям жизнь, а мне экологическую рыбалку. Что бы мне с вами такое сделать за это?

— А ты бы отпустил нас, брат... — хриплым голосом попросил Ашмедай, открывая один глаз.

Слово «брат» коту пришлось явно не по вкусу.

— Ответь мне, копытный, — сказал он строго, — залезал ли ты в чужой парк? Залезал или нет?

Ашмедай хотел было ощериться, но не успел: кот цапнул его лапой за шиворот, сунул в воду, подержал там и на счет пять вытащил.

— Залезал, — ответил Ашмедай.

— Ага! Значит, залезал. А теперь скажи: не ловил ли ты меня сетью?

— Ловил.

— А не хотел ли ты, часом, сунуть меня в мешок?

— Тебя сунешь... — пробормотал Ашмедай и тут же ушел под воду. — Хотел, хотел! — выкрикнул он, появляясь обратно.

— А не хотел ли ты продать меня на своем рынке каким-нибудь живодерам?

И тут заговорил молчавший до сих пор Бобо.

— Нет, этого мы не хотели, — тихо сказал он.

Кот посмотрел на него с удивлением.

— Хм. А второй мыш гораздо симпатичнее. Так ты говоришь, торговать котами вы не собирались?

— Могучий шейх — не знаю, как тебя называть! — взмолился Бобо. — Отпусти друга моего Ашмедаю! Он не виноват, это я его попутал! Отпусти его, а меня можешь на обед скушать.

Кот удивленно почесал Ашмедаем свой розовый нос.

— Надо же... — сказал он. — Словно и не мыш говорит. Хм. Называть меня ты можешь «господин советник», а на обед я тебя кушать не буду, потому что у бесов мясо кислое. Шутка. Не ем я мяса, давно уже. Скажи, а почему ты пощады не просишь?

— А потому, о могучий советник, что жить мне теперь все равно незачем.

— Ты его не слушай, уважаемый! — вмешался тут Ашмедай. — Он от любви разума лишился. Ему красавица одна велела тебя в мешке привезти — тогда полюблю, говорит. А друг мой Бобо в отчаяние пришел, потому что ты в мешок точно не влезешь!

— Во-от оно что... — протянул кот. — Роковые страсти на Восточном рынке. Мелкие бесы в поисках любви. Ну что ж, это меняет дело. А как зовут твою красавицу, Ромео?

Бобо не отвечал.

— Сладкая Лейла ее зовут. Дочь амира нашего, слава ему, — торопливо принялся объяснять Ашмедай. — А его Бобо зовут. И зря ты его таким словом назвал, уважаемый советник, он отличный шайтан. Восьмой категории. А я седьмой. Ты меня поставь на землю, пожалуйста.

Бобо молчал, отвернувшись.

Кот задумался.

— Теперь понятно, — сказал он, отпуская наконец Ашмедаю. — А я-то решил, что вы меня продавать собрались, представляете?

И пасть его вдруг раздвинулась в неуловимой кошачьей улыбке.

— Тебя продашь... — буркнул Ашмедай в сторону, ощупывая свои помятые бока и многострадальную челюсть.

— Это точно. Чтобы меня поймать и продать, вам надо слегка подрасти. Примерно до второй категории. Ну, ладно, хватит болтать. С вами потом разберемся, а сейчас пора за дело приниматься. А то его превосходительство уже в аквариуме сидит. Заждался, небось...

С этими странными словами кот взял свой сачок и поболтал им в воде.

Никто ему не ответил.

— Напугали Поликарпа, животные, — с досадой сказал кот. — Под корягу, должно быть, забился, сердечный. Ну, бесы, молитесь своим архидемонам, чтобы у него инфаркта не случилось. Уф... Не дай бог! Его превосходительство не переживет. Придется теперь голосом звать.

И он принялся зачем-то откручивать от сачка бамбуковую ручку.

Бобо посмотрел на Ашмедаю и потихоньку пальцем у виска покрутил. У кота явно были не все дома: какой такой поликарп с инфарктом под корягой и как его оттуда голосом звать? Но

Ашмедай в ответ расставил руки рыбацким жестом, и Бобо догадался: это одну рыбу Поликарпом зовут. Ну и ну...

Кот тем временем открутил ручку, сунул один конец в воду, второй — себе в пасть и принялся в эту ручку дуть. По воде пошли пузыри.

— Бу! Бу-у! Бу-бу-бу! — выводил кот, словно объясняя что-то.

Он вытащил свой подводный телефон, подождал, пока разойдутся круги на воде, а потом наклонился к самой поверхности и принюхался. Спустя минуту на озерной глади появилось несколько крошечных пузырьков. Видимо, таинственный Поликарп все-таки решился на контакт с обитателями суши.

Кот дождался, пока лопнет последний пузырек, а потом обернулся к бесам:

— Говорит, чуть в обморок не упал от нервного напряжения. Дважды за утро, говорит, какие-то хмыри в заповедное озеро бухались.

— Мы же не знали, — виновато сказал Бобо. — Мы совсем тихо в воду вошли...

— Как ныряльщики! — гордо добавил Ашмедай.

— Вот я вам покажу ныряльщиков! — погрозил им кот своей дубиной и снова сунул ее в воду.

На этот раз переговоры пошли успешнее. Поликарп отвечал все охотнее, пузыри его становились все крупнее и радужнее, а кот — все довольнее.

— Уговорил, — с облегчением сказал он наконец, принимаясь привинчивать ручку обратно к сачку. — Сейчас выйдет. А ну, спрячьтесь куда-нибудь, а то ему от ваших рож опять плохо станет.

Бобо с Ашмедаем обиженно переглянулись и прочли в глазах друг у друга один и тот же вопрос: а что, от рожи двухметрового кота, да еще мандаринового цвета, рыбе плохо

не станет? Но спорить не стали — кто их к черту разберет, этих ёшек... Зашли за ангельский постамент и притаились.

Послышался сначала мощный всплеск, а потом такой звук, как будто в ведро шлепнулся небольшой бегемот. Поликарп, видимо, был готов к переезду.

— Вылезайте, копытные! — скомандовал кот. — Пойдем с его зеленым превосходительством знакомиться. И запомните: во дворце руками ничего не трогать, вести себя тихо, ходить только за мной и только гуськом! Понятно?

Бесы вытянулись в струнку. Кот подхватил тяжелое ведро, и все трое стали гуськом подниматься по мраморной лестнице.

* * *

Любые чудеса готов был увидеть Бобо в ёшкином дворце. Не удивили бы его ни парчовые шатры, ни прозрачные полы, ни мраморные бассейны, ни золотые светильники. Чего угодно ожидал он — но только не того, что увидел. Дворец внутри оказался огромным лесом. Росли вдоль стен, сплетаясь мохнатыми ветвями, невиданные деревья. Важно восседали на них разноцветные упитанные птицы, и щебет их заполнял все залы от пола до самого потолка. Из кустов высывали странно добродушные морды хищные, по идее, звери. Вместо пола были подстриженные газоны, а между газонами вились узкие каменистые тропинки.

Прошли пять больших залов, и в каждом из них кот важно пояснял: «Хвойный... Лиственный... Пальмовый...».

И вот, наконец, вышли к цели.

— Рыбный! — объявил кот.

В Рыбном зале все четыре стены занимали аквариумы. Три из них были обыкновенные: с камнями и чахлыми водорослями, между которыми плавали плоские рыбешки. Но зато четвертый... Что это был за аквариум! Там, за стеклом, все было,

как в настоящем лесу: мрачные кривые деревья тесно обступали лужайку с изумрудной травой и желтыми полевыми цветами. На лужайке под деревьями стояла поросшая мхом избушка, а за ней сквозь заднее стекло аквариума виднелось озеро — то самое, уже знакомое, с толстыми ангелами и водо-плавающими птицами.

Но самое удивительное в этом аквариуме был даже не подводный лес. Самое удивительное было то, что там не плавало ни одной рыбы.

— А рыба-то где? — озадаченно спросил Ашмедай.

— Как где? — удивился в свою очередь кот. — В ведре.

— А что, другой рыбы там нет?

— Эх ты... — Кот даже головой покачал. — Да разве можно живых за стеклом держать? Вот сразу видно, что вы с копытного рынка.

— Так как же вот в этих трех аквариумах рыбы плавают? — стал тыкать пальцами по сторонам Ашмедай.

— А это вообще не аквариумы. Это экраны, а на них заставки рыбные. Для красоты это, понял? А рыба у нас одна. И сейчас ты ее увидишь.

Сказав это, кот стал подниматься по специальной лесенке, которая вела на самый верх лесного аквариума. Забравшись почти под потолок, он открыл в стеклянной стене окошко и осторожно перелил в воду содержимое своего ведра. И через несколько секунд бесы увидели, как из гущи подводных кустов не спеша выплывает Поликарп.

Поликарп оказался огромной синей рыбой, покрытой крупными серебряными звездами. Выражение лица у него было задумчивое, мудрое, а нижние плавники — широкие и крепкие, похожие на лапы. Он неторопливо опустился на дно, встал на эти плавники, солидно прогулялся немного по травке, понюхал цветы, а затем улегся на пороге избушки и выпустил крупный пузырь, словно окликаая кого-то.

Бесы следили за телодвижениями невиданной рыбы, разинув рты.

— А зачем его в аквариум запускают? — шепотом спросил Бобо.

— А затем, чтобы его зеленое превосходительство мог к истокам жизни припасть, — непонятно ответил кот.

— Это Поликарп, что ли, исток? — спросил Ашмедай.

— Поликарп — он кистеперый...

Кот сказал это с таким почтением в голосе, что бесы, сами того не желая, вытянулись и дружно кивнули, словно все поняли. Кот покосился на них и пояснил:

— Ему триста миллионов лет. С него жизнь на суше началась, а вы его чуть до обморока не довели, засранцы. Чувствуете свою вину?

— Чувствуем! — ответил за двоих Бобо.

В этот момент дверь избушки отворилась, и оттуда вывалилось целое облако радостных пузырей. Поликарп приподнялся на плавниках и, как показалось шайтану, приветственно помахал своим трехперым хвостом.

Наконец пузыри рассеялись, и на пороге подводной избушки показался сам полномочный президент Западного рынка, архидемон первой категории Ёшка-фишер. Бобо с Ашмедаем не сговариваясь юркнули за спину кота, высунули оттуда пятачки и уставились на него во все глаза.

А рожа у его зеленого превосходительства совсем ничего оказалась — не такая, как приснилась накануне. Точней сказать, рожи этой было совсем не разглядеть, потому что на ней был надет водолазный шлем с большими круглыми глазами. Сам же повелитель ёшек был длинный, тощий, в зеленом резиновом костюме с галстуком и в зеленых же ластах. На жабу похож немного, а так ничего особенного, обычный руководитель.

— А его превосходительство что, всегда в воде сидит? — шепотом спросил шайтан.

— Почти всегда, — ответил кот. — Ночью выходит иногда.

— А ты говорил — нельзя живых за стеклом держать, — буркнул Ашмедай.

— Так он же там по своей воле сидит. И Поликарп тоже. А потом его зеленое превосходительство Ёшка-фишер... как бы тебе сказать... ну, не совсем живой.

Бесы тревожно переглянулись, но переспросить побоялись.

— А если он все время в воде сидит и... и не совсем живой, то кто же тогда рынком управляет? — спросил Бобо.

— Рынок на то и рынок, чтобы сам собой управлять. Если он рынок, конечно, а не базар вроде вашего.

Тем временем зеленый архидемон присел на скамейку у входа в свое жилище и любезным жестом предложил Поликарпу место рядом с собой. Поликарп не спеша подошел поближе, встал на хвост — и тоже примостился на скамейке. Фишер вежливо поздоровался с ним за плавник и выпустил три небольших пузыря — наверное, как дела спрашивал. Кистеперый подумал немного и ответил парой радужных пузырьков.

Ашмедай, увидев, что фишер с Поликарпом сидят на лавочке и болтают, как старушки с Восточного рынка, совсем покой потерял. Он то за голову хватался, то к аквариуму подбегал, то бежал назад и в испуге за кота прятался. Его просто распирало от любопытства, и вопросы сыпались из него, как метеориты с неба в августе:

— А куда они смотрят? А нас они видят?

— Нет, не видят, — отвечал кот. — То есть сквозь стекло видно, конечно, но им сейчас не до вас, мои копытные друзья. Уж больно у них с Поликарпом разговор серьезный. Так что можете не прятаться.

— А о чем они говорят?

— Об устройстве мироздания. Вот смотри. Если изо рта пузыри пускают — значит, соглашаются. А если из другого места — значит, спорят. Тут концы и начала сошлись, понимаешь?

— Не-а, не понимаю, — отвечал Ашмедай. — А кушает его превосходительство что?

— Он гриноед.

— Чего?

— Водоросли кушает.

— А... А писать как? А какать? А как приказы отдавать? По телефону? А как...

— Слушай, сколько у тебя еще вопросов? В избушке все удобства. Ты же на Западном рынке, дурило.

В этот момент между подводными собеседниками начались какие-то разногласия. Его превосходительство решительно замотал головой, вскочил, повернулся к Поликарпу задом и выпустил небольшой, но очень красноречивый пузырь. Поликарп в долгу не остался: он слез со скамейки, сунул голову в кусты, крепко расставил плавники и, поднатужившись, ответил целой очередью пузырьков из-под хвоста. Ёшка-фишер схватился за голову, словно не веря своим ушам, а потом встал на четвереньки и начал отвечать очень подробно, делая равномерные паузы. Казалось, он что-то перечисляет по пунктам.

— Ну вот, спорить начали, — сказал кот. — Это его превосходительство Поликарпу преимущества рыночной демократии доказывает. Теперь надолго...

И он широко зевнул.

— Ты чего зеваешь? — изумился Ашмедай. — Тут у вас чудеса такие, рыбы ходячие разговаривают, начальство пузыри пускает, я чуть с ума не сошел от любопытства. А тебе разве не интересно?

— Это вам интересно, потому что в первый раз. А я уже целый год все это наблюдаю. Если честно, братцы, надоел мне этот Западный рынок хуже вот этих самых горьких водорослей, хоть беги отсюда.

Бобо понял, что наступает решающий момент.

— А как вы раньше жили, господин советник? — осторожно приступил он к разговору. — Не скучали?

— Скучал? Да я же русский демон! С Северо-Восточного рынка, слышал про такой?

— Кто же про него не слышал... Все слышали.

— Ну так что же ты спрашиваешь? У нас там уже сто лет никто не скучает. Некогда нам скучать, потому что боремся все время. А тут... Нет, жизнь хорошая, конечно, я ничего не говорю. Но ску-учно...

И кот зевнул так, что бесы даже попятились. Пасть у него была, как пещера.

— А вот у нас, господин могучий советник, — вкрадчиво сказал Бобо, — как раз намечается обострение рыночной борьбы. Шаддад говорит: прямо не торговля, а революционная ситуация какая-то. Большие опасности грозят нашему Восточному рынку.

— Хм. А что за опасности-то?

— Ну, во-первых, цены на персик нестабильные.

— Ну, это ерунда. А еще что?

— А еще муддарис один, Михаил Али Евстигнеев, воду мутит.

— Кто-кто? Мишка Евстигнеев?

Услышав это имя, Ёшкин-кот вдруг выгнул спину, как самый обыкновенный кот, и глаза его сузились в щелки.

— А вы что, знаете его? — удивился Бобо.

— Да уж знаю гада, — ответил тот, понемногу распрямляясь. — А кто, ты думаешь, меня попам заложил год назад?

А потом комиссионные с них взял и к вам на рынок сбежал...
Так, ты говоришь, воду мутит?

— Мутит. Сидит в ванне целый день и мутит.

— Ну, пока сидит, это ничего, — расслабился кот. — Лишь бы не вылез. Ну, еще что?

— Шаддад говорит: гномы шепчутся.

— Хм. А еще?

— Шаддад говорит: человеческий фактор недоволен.

— А вот это совсем плохо. Надо же, как распустились. Эх, навести бы у вас порядок, да заодно с Мишкой поквитаться... Но нет, не могу, ребята, даже не просите. Его превосходительство расстроится. Он без меня теперь как без акваланга. Если я улечу, кто ему будет Поликарпа носить?

Услышав эти слова, Ашмедай вдруг подскочил к коту, встал на цыпочки, схватил его за обе лапы и зашептал быстро и убедительно, как в бреду:

— А я буду, я! Слушай, советник, план какой есть: ты лети отсюда порядок наводить, а я вместо тебя котом работать буду, понимаешь?

— Ты? Вместо меня? — изумился кот. — Ну подумай сам, что ты говоришь, копытный? Ведь его превосходительство ко мне привык, не к тебе.

— А я тобой прикинусь! Он все равно через стекло ни беса не видит. А если еще рыжую шкуру нацепить — точно за тебя примет.

Тут Бобо вмешался:

— Ну зачем ты глупости говоришь, Ашмедай? Да ты посмотри на себя и на господина советника! Ты же знаешь, что нам с тобой нельзя себе роста прибавлять!

— Нам нельзя. А вот господин советник не ссильный, а политический эмигрант с русского рынка, и сил у него поэтому навалом. Он и не такое прибавит, если захочет!

— А может, он не захочет?

— А может, захочет?!

— Эй, ребята, погодите-ка, — прервал их кот. — Рост — не проблема. Ты мне лучше вот что объясни, Ашмедай: почему ты домой возвращаться не хочешь?

— К Шаддаду не вернусь, — угрюмо ответил джинн. — Он мне клыки велел выдернуть.

— Ай-я-яй, что ты говоришь! Ведь это все равно что коту когти подстричь! Экологическое преступление!

— Это точно... Это... логическое. А еще собаки у него знаешь какие? В темных очках, как шпионы! Зверюги настоящие.

Ашмедай, видимо, намеревался рассказать всю свою печальную историю, но тут шайтан решительно отодвинул его в сторону и подступил вплотную к коту.

— Господин советник, дорогой, — умоляющим голосом заговорил он, — ты его не слушай про зубы! Поехали к нам! У нас там инжир, кизил, шафран, персик вот такой, подобный попе младенца...

Бобо чуть не плакал.

— Ну, ну, ладно... — Кот был явно тронут его порывом. — Я подумаю. Я ж не против. Ты только пойми, Бобо: тут не в персике дело и не в зубах. Вот если бы у вас и вправду была революция...

— Да будет, будет, Шаддадом клянусь! Может, она уже идет, твоя революция. Откуда нам тут знать?

— Хм. Откуда? Есть откуда. Вот мы сейчас посмотрим, что у вас там делается. Как раз девять часов, сейчас новости пойдут.

Кот взял свой волшебный сачок, что-то пошептал, что-то нажал — и вдруг все три стены, изображавшие аквариумы, вспыхнули изнутри. Фальшивые рыбы исчезли, а вместо них выплыл огромный толстый ёшка в очках и в галстуке.

— Ух ты! — вырвалось у бесов.

— Цыц! — шикнул на них кот. — Вот дикари, телевизора не видели. Смотрите внимательно! Сейчас главные новости пойдут!

Серьезный ёшка в галстук заговорил с непроницаемым лицом:

— Внимание! Передаем неприятные известия. Сегодня утром на Восточном рынке была объявлена Великая Хуляльская Оздоровительная революция.

Бесы ахнули и схватились за руки, а ёшкина рожа вдруг исчезла, и вместо нее пошли до боли знакомые картины родного рынка.

— Умеренный президент Шаддад Каракулов свергнут радикальными бесогонами, — продолжал ёшкин голос. — Бывший русский омон Михаил Али-баба Евстигнеев объявил себя великим джамахером Восточного рынка и призвал положить беспредел бесовскому беспорядку.

Теперь во всех трех аквариумах возникло по огромному Мише. Он что-то быстро говорил, постоянно сплевывая направо, и грозил кулаком. Потом показали баню. Возле нее стояла огромная толпа.

— Суббота объявлена банным днем, — объяснял ёшка. — Духовный лидер обещал каждое утро лично поливать всех, кто в бога верует, водой из чистого колодца Хуляль в целях борьбы с шайтаном.

Дальше показали старый предвыборный плакат с изображением Шаддада. Амир нюхал цветочек и лучезарно улыбался.

— Суд над прежним диктатором состоится сегодня вечером на главной площади рынка, виселица уже готова. Судьба дочери свергнутого президента Лейлы Шаддадовны и двух его любимых собачек остается неизвестной.

Бобо сжал кулаки и мысленно призвал на Мишу-муддариса гнев великой демоницы. Ашмедай же только потрогал свою челюсть.

Стали показывать торговые ряды.

— Цены на хашиш резко возросли, — докладывал ёшка. — Цены на персик остаются стабильными. Цены на гранаты пока колеблются.

Кадр вдруг резко сменился, и Бобо увидел самого себя.

— Новое правительство объявило в международный розыск шайтана восьмой категории Нурбобо Бобоназарова, чье настоящее имя Ёшка-гуревич.

Бобо обнял Ашмедаю и стал вместе с ним тихо сползать на пол.

— Ну, делать нечего, — сказал кот, резко выключая телевизор. — Уговорили. Раз такие дела, придется лететь. А ну-ка, садись мне на шею, Иван-Гуревич!

— То есть как садись? — слабым голосом спросил Бобо и только потом добавил: — Я не гуревич.

— На шею мне садись. Домой полетишь. Вставай давай, чего разлегся!

Бобо встал и на подгибающихся ножках подошел к коту. Кот уже стоял на четырех лапах.

— Садись и держись крепче — я ведь не люфтганза. Сейчас ты увидишь, что такое русская езда. Живо домчим. Вспомни молодость, шайтан восьмой категории!

— А может, не надо? — спросил Бобо, усаживаясь на мягкий загривок кота и хватаясь за его острые уши.

— Надо! Прощай, Ашмедай! Рыжую шкуру в Пальмовом зале возьмешь. Там тигр один фальшивый ходит, скажешь, что ты на его место поступаешь, я велел. Все! Веди себя хорошо. Поликарпа береги.

— Прощайте! Не беспокойтесь! — радостно крикнул Ашмедай.

Кот сжался, как пружина, скакнул вперед и огромными прыжками понесся через все залы. Ветки хлестали Бобо по лицу, из-под кошачьих лап с визгом бросались врассыпную какие-то мелкие животные.

Выскочив на мраморную лестницу, кот на секунду притормозил — видимо, оцетинился духовно — а потом оттолкнулся всеми четырьмя лапами и взмыл в небо, как реактивный истребитель.

Он сделал прощальный круг над ёшкиным парком, набирая высоту, и широкими зигзагами понесся в восточную сторону.

* * *

У Бобо сразу заложило уши. Он уткнулся пяточком в мягкую кошачью шерсть и зашептал про себя заклинания против ангельских сил. Ох, как нехорошо! Как же нехорошо все получилось! Ну никак нельзя ссыльному летать, да еще так высоко! Правда, это только самому по себе летать нельзя, насчет котов в небесном законе ничего не написано. Но все-таки — не дай бог великий Джибрил заметит, ой, что тогда будет, ой, что будет...

Он поднял украдкой голову — посмотреть, не видно ли впереди могучего архангела — и увидел, что кругом непроглядная ночь, а прямо на них несется огромный серебряный шар. Бобо взвизгнул от страха, отпустил на мгновение кошачьи уши и чуть не ухнул в бездну, еле удержался.

— Что ты там ерзаешь, копытный? — сердито спросил кот. — Ты меня с курса сбиваешь.

— Великий шейх! Что там такое впереди?

— Как что? Луна, разве ты не видишь?

— Да нам же не туда, нам на Восточный рынок!

— Ничего! Сто тыщ верст не околица — зато мимо Луны прокатимся. Эх, и пуганем мы сегодня кой-кого!

— Да некого здесь пугать! Пусто на Западном небе!

— Ничего! Сейчас границу с Восточным пересекать будем! Там у вас есть кого пугнуть! Держись!

Пока неслись по пустому Западному небу, кот разогнался так, будто хотел разом допрыгнуть до самых звезд. Но как только промелькнула мимо Луна, вдруг сбился и пошел тише.

— Что такое? Что случилось? — опять забеспокоился шайтан.

— Границу пересекли, — ответил кот. — Небесных камней тут у вас полно, не говоря о бесах. Сейчас почувствуешь.

И Бобо почувствовал. Словно по булыжной мостовой несся теперь Ёшкин-кот, перепрыгивая камни и огибая препятствия. Как ни мягка была кошачья спина, а от тряски у шайтана сразу хвост заболел. Но стоило только взглянуть вперед или назад — и сразу забывал Бобо о всякой боли. Вот оно, родное Восточное небо! Неисчислимыми алыми стаями, роями и облаками несутся по нему бесы, золотыми искрами вспыхивают ангелы...

Шайтан приободрился, пересел повыше и оглянулся, чтобы окинуть взором все Восточное небо. И вдруг окаменел с повернутой головой. Прямо за ними неслось, сверкая, переливаясь и увеличиваясь с каждой секундой, огненное пятно, и Бобо с ужасом различал в его очертаниях пушистые разноцветные крылья. Шайтан перевернулся задом наперед, ухватился за кошачий хвост и застыл беспомощно, не в силах отвести взгляда от этого блеска.

— Что ты меня за хвост таскаешь? — слышался голос кота. — Я же им рулю!

— Оглянись назад, о великий шейх! — призвал Бобо.

Кот, не замедляя бега, чуть повернул голову.

— Ну, и что это за гонщик? — спросил он небрежно.

— Это не гонщик, это великий Джибрил! Горе нам, о шейх! Не уйти нам от него! Пропали мы, пропали! Сбрасывай меня скорей, лети один — Лейлу выручать! Ему только я нужен.

— Еще чего! А вот мы посмотрим, кто тут настоящий летун!

И кот наддал.

Он мчался теперь так, что шайтан трясся мелко-мелко, как припадочный. Но Джибрил все равно приближался с каждой секундой, казалось, ничто не могло остановить его. Совсем ясно видел теперь Бобоназаров и огромные радужно переливающиеся крылья, и неземной белизны одежды.

И вдруг наперерез архангелу метнулось облако звездной пыли. Джибрил притормозил, лег на правое крыло и попытался его обогнуть, но с другой стороны налетело на него еще одно облако.

— Бесы! Бесы! — радостно вскричал Бобо.

Бесы рой за роем застилали прямой путь повелителя ангелов. Шайтан видел, как Джибрил ловко, как рыба, виляет меж волнистых стай ополчившихся на него демонов и, зажмурившись, ныряет в их кучевые облака. Он видел, как в ужасе бросаются прочь случайно затесавшиеся в эту бучу золотые искорки. Но вот могучий Джибрил выбрался на пустое место, остановился на мгновение, тяжело дыша, а потом вдруг отчаянно раскинул крылья, ринулся вперед — и исчез в красной пене бесовских ратей.

Бешено крутящееся облако, из которого во все стороны летели розовые клочья, стало стремительно уменьшаться в размерах и, наконец, сделалось неотличимо от дальних звезд.

Опасность миновала.

Кот перешел на рысь, а потом вдруг сделал резкий рывок в сторону — и ловко оседлал попутный небесный камень. Он основательно уселся на нем и усадил рядом с собой шайтана. Бобо огляделся. Прямо под ними была Земля. Она медленно поворачивалась, подставляя их глазам Восточный рынок.

— Что это такое было, великий шейх? — все еще тяжело дыша, спросил Бобо дрожащим голосом.

— Как что? Революция, — спокойно ответил Ёшкин-кот. — А ты думаешь, на земле что-то случайно происходит? Что на небе, то и на земле. И наоборот.

— Я про это никогда не думал.

— А надо думать. Вот ты откуда на свет появился?

— Я? Из греховных мыслей цирюльника Бобоназара, — ответил Бобо.

— Вот видишь. Я и говорю — что на земле, то и на небе.

— А вы откуда появились, господин советник?

— А я и сам не знаю, — почесал в затылке кот. — У нас на русском рынке, знаешь, сколько греховных мыслей...

Помолчали немного.

— Господин советник, — сказал Бобо. — У меня важный вопрос возник. Как вы думаете, погиб великий Джибрил или нет?

— Вот из таких мыслей бесы и рождаются, — наставительно ответил кот. — Джибрил бессмертен. Так что ты с ним еще обязательно встретишься.

— Что-то у меня совсем голова закружилась...

— Еще бы ей не кружиться! На восток же летели.

— Ну и что?

— Разница во времени большая, — объяснил кот, — вот голова и кружится. Ну ладно, пора нам на Землю. Вон, видишь, рынок как раз под нами. Но только мы вот как поступим:

я тебя сейчас в пожарный водоем сброшу, а сам попозже подойду. Идет?

— Как так попозже? Там же революция, сейчас Шаддада, слава ему, вешать начнут!

Но кот остался безмятежен.

— Ничего, успеем, — сказал он. — У меня тут, на небе, еще дела есть. Надо с одной дамой потолковать, а то ничего не выйдет.

— С какой такой дамой? Ай... С той самой?

— Ага. Ну чего ты так испугался? Мы же с ней свои, русские. Договоримся. А ты пока переоденься, ступай на рынок и жди меня там. Ну, лети, копытный!

С этими словами Ёшкин-кот взял шайтана за шиворот, размахнулся — и швырнул на Землю.

* * *

Чиркнула по небосклону красная искорка — рухнул шайтан в пожарный водоем. Выбрался поскорей на берег и стрелой полетел к себе в каморку переодеваться. Пока бежал — молился, чтобы не заметили и чтобы шкаф целым оказался, а то ведь с Западного рынка в ёшкином виде улетать пришлось. Но все сохранилось, слава Шаддаду: и каморка, и окошко, и шкаф с человеческими обличиями. Значит, не дошли пока до них руки у правоверных. Бобо распахнул шкаф и схватил первое, что под руку попало. А попался такой вид, какого раньше никогда не надевал: Ходжа Насреддин, мудрец такой древний. Натянул поскорей вместе с халатом и кинулся со всех ног на базарную площадь.

Немилосердное солнце сжигало своими лучами Восточный рынок. Великий Шаддад, связанный и с кляпом во рту, сидел на земле у края помоста, сооруженного посреди площади. Рядом, потупившись, стояла все такая же прекрасная Лейла.

Помост окружали шестнадцать гномов с топорами, и Бобо очень удивился, потому что никогда не видел на Восточном рынке столько гномов. Помост поддерживал небольшую виселицу, а к ее основанию приткнулась какая-то приземистая трибуна. Из этой трибуны высовывался голый человек в чалме. Он что-то громко и отрывисто выкрикивал, словно лаял. Но кто это был такой и что он кричал — с такого расстояния было никак не разобрать. Вся площадь была густо запружена человеческим фактором.

— Послушай, уважаемый, ты не знаешь, кто это такой? — спросил Бобо у стоявшего рядом человека с крашеной бородой, показывая на трибуну.

— О! Это сам великий джамахер, — с большим почтением ответил правоверный.

— А вокруг кто стоит?

— Святые люди, стражи Хуляльской революции.

— Да откуда они взялись-то?! — не выдержал Бобо.

Собеседник почесал бороду.

— А гуревич их знает. Разное на рынке говорят. Одни говорят: с кастрюли повылезали. С какой такой кастрюли — я не знаю. А другие говорят, что великий джамахер всех попов в стражи поверстал — и наших, и русских. Старые связи у него... Да ты не отвлекай меня. Смотри лучше — сейчас вешать начнут!

И действительно, в центре площади началось какое-то движение. Гномы подхватили связанного Шаддада и потащили его на помост. Великий амир не сопротивлялся, а ехал на их руках с большим достоинством, как на носилках.

Бобоназаров ринулся вперед, расталкивая локтями правоверных. Пробравшись почти к самой трибуне, шайтан быстро протер глаза, ущипнул сам себя за невидимый хвост и посмотрел вверх. Нет, никаких сомнений быть не могло: не кто

иной, как Михаил Али-баба Евстигнеев сидел на помосте в своей ванне и кричал не переставая:

— Я обращаюсь к вам, узники совести, капитала, Сиона, Азкабана и замка Иф! Доколе, правоверные, мы будем терпеть на этом рынке ёшкин дух? Слушайте истину, люди Восточного рынка! Шаддад — это ёшка! И дочь его ёшка! И шайтан его облезлый — тоже ёшка! И две собаки, которых я в бане запер, тоже ёшки! Я посылаю проклятие всему этому ёшкину гнезду! Доколе вы будете тереться о ёшкины копыта и просить подачки, как делает зверь, именуемый кот? Кто из вас докажет, что он не ёшкин кот, кто первый поднимет свою мускулистую руку? Поспешите, и да настанет полный гусул этой гнусной цивилизации! Ратуйте, правоверные, берите камни, в них нет у вас недостатка! Вешать потом будем, сначала камни, поняли-нет? И пусть меня сожрет самый смрадный из членов конгресса Западного рынка, если эти ёшки не увидят адское пламя уже сегодня вечером! О ты, предписавший нам уничтожать вредных насекомых! Обрадуй этих слизней мучительным наказанием! Да воссияет над этим рынком правда, бисмилля рахман рахим!

Люди зашумели.

— Да что он говорит такое! — схватился за голову Бобо.

— Ты что, глухой? — удивился стоявший рядом почтенный старичок. — Вот я глухой, но все хорошо слышал. Милосердный повелитель сказал так: всех котов за шкурку — и гусул. Ой, что будет... Ну, давайте за работу, кто в бога верует...

Но не успели правоверные потянуться к груде камней, предусмотрительно наваленной возле помоста, как случилось неслыханное.

Прежде, чем в Шаддада полетел первый камень, на помост прямо с неба рухнул огромный рыжий кот. Он мягко приземлился на все четыре лапы, нахально оглядел низкорослых

гномов, поднял хвост и сделал в их сторону совершенно недостойный жест. Увидев такое бесчинство со стороны животного, все шестнадцать стражей как по команде развернулись и жахнули по коту своими топорами. Но кот в самый момент удара подскочил, как мячик, ухватился лапой за петлю на виселице — и завис. Топоры глубоко ушли в деревянный настил, и эшафот сразу стал похож на ошестинившегося ежа. Гномы тужились, пытаясь вытащить свое оружие. Кот же, не теряя ни секунды, оттолкнулся лапой от виселицы и, держась за петлю, стремительно описал над их головами два широких круга. Потом он резко сузил круги и вдруг, мелко-мелко притоптывая, пробежался по головам гномов, как по булыжной мостовой.

Все было кончено в одно мгновение: стражи революции повалились друг на друга, как пластмассовые солдатики, а на помосте осталась одна только ванна с остолбеневшим джамахером.

Кот легко спрыгнул с виселицы. Оказавшись рядом с Мишей, он проделал совсем удивительную штуку: встал на задние лапы, вытянул вперед правую переднюю и сделал вид, что засучивает на ней рукав. Никакого рукава у него, конечно, не было, но кошачья лапа прямо на глазах у Бобо вдруг превратилась в мускулистую руку совершенно человеческого вида. Этой ручищей кот цапнул скользкого муддариса поперек туловища, тут же перехватил его за ноги, мощно раскрутился — и отпустил несчастного прямо в небо.

Духовный лидер, растопылив руки и ноги, понесся к звездам. — Ай-бла-ад!!! — донесся до толпы его замирающий крик. Земля дрогнула.

Правоверные бухнулись на колени и задрали бороды к небу.

Растопыренное Мишино тело, описав сложную фигуру, перевернулось в высшей точке и понеслось вниз, к земле. Казалось, еще секунда — и самозванный джамахер вдребезги

разобьется о собственную ванну. Но не судьба была ему пасть на землю. Словно молния ударила вдруг в это тело: почти у самой земли его стремительно, как птица бабочку, подхватила молниеносная распущенная женщина в золотом шлеме. Подхватила — и тут же взмыла ввысь, в раскаленное синее небо.

А немного погодя в ванну откуда ни возьмись гулко шлепнулась большая желтая жаба. Она высунула ошарашенную морду из воды, моргнула и жалобно квакнула.

Освободившийся Шаддад потирал онемевшие от веревок руки.

Правоверные молчали, продолжая глядеть в пустое небо, где медленно распускался легкий росчерк стремительной птицы.

Не смотрела вверх только прекрасная Лейла. Все это время не отрывала она глаз от героического кота, и в этих сияющих под паранджой глазах читал шайтан духовным взором приговор своей бедной любви.

Но вот, наконец, растворился в небе след могучей демоницы. И тогда сладкая Лейла шагнула вперед и крепко взяла Ёшкина-кота под могучую и надежную человеческую руку.

— Папа, познакомься, пожалуйста, — сказала она амиру. — Это твой будущий зять.

— Да вижу я, вижу... — проворчал Шаддад, все еще потирая руки. — Ну, здравствуй, архидемон. Спасибо тебе.

— Да ладно, чего уж там, — скромно ответил кот. И тут же добавил: — Спасибо не отделаешься.

— Э... Ну ладно, потом посчитаемся. Я тебе кисточку дам золотую, как у льва. Ну, что же вы молчите? — обратился Шаддад к правоверным. — Кричите: да здравствует наш новый замдиректора Ёшкин-кот!



До самого утра праздновали люди и бесы Восточного рынка чудесное избавление от нехорошего муддариса. А когда поднялась над рынком полная луна, то стало казаться, что и Небесный Базар радуется земной победе. Как-то по-особенному танцевали в эту ночь ангелы, веселыми кругами нарезали пространство стаи демонов, солидно приплясывали на месте тяжелые планеты и радугой переливались надо всем далекие звезды. Только одна душа во всей Вселенной не чувствовала ни малейшей радости: не было в ту ночь в мире никого несчастней, чем маленький шайтан Бобоназаров. Не осталось ему теперь места ни на Восточном рынке, где празднует свою победу новый замдиректора, слава ему, ни на Западном, где и жить-то не стоит, тьфу на него, ни в звездных просторах, где караулит опальных великий Джибрил, да не скажет о нем никто дурного слова. Не осталось шайтану места в мире, и потому медленно и печально брел он топиться к пожарному пруду.

Тихо было у пруда, никого там не было. Только две черные собаки лежали у самой воды, положив серьезные морды на лапы, и молча глядели на него сквозь совершенно лишние в это время суток темные очки.

— Ну что, малыш, — услышал шайтан голос с неба, — тяжело тебе?

— Тяжело, амир, — кивнул Бобо.

— А ты на нее не сердись, на дочку. Она этого кота еще в детстве полюбила. Фильм про него был, мы всей семьей смотрели в бункере. Как увидела его Лейла — так сразу и полюбила. Папа, говорит, это демон моей мечты. Я тебя не стал тогда расстраивать, а то бы ты на Западный рынок лететь не захотел. Да, любовь...

И великий Шаддад вздохнул в микрофон.

— А откуда у него столько силы собралось? — спросил Бобо.

— Так ведь Ёшкин же кот! Его теперь все призывают, на всех рынках, с утра до ночи, ты разве не слышал? И сила его потому с каждым днем прибывает. Скоро сильнее, чем сам знаешь кто станет. Мода на него. А еще у него другое имя есть, тайное... Но это — тссс, секрет.

Теперь вздохнул Бобо. Он подумал о том, что его-то самого люди никогда так призывать не будут. Попробуй выговори: «Нурбобо Бобоназаров». Да что теперь об именах говорить! Никогда не наскучит Лейле красавец-кот, никогда не полюбит она маленького шайтана. Теперь одна дорога...

Бобо выпрямился и сказал, не отрывая глаз от пруда:

— Повелитель, у меня важный вопрос возник. Ты не мог бы мне в последний раз свое милосердие оказать, а? Очень прошу тебя: позови собачек к себе в бункер минут на десять.

— Э... погоди топиться. Сейчас поможем твоему горю, утешение найдем. Ты ведь тоже награду заслужил. Во-первых, я тебе даю сразу шестую категорию. Держи кисточку!

И прямо к копытам шайтана упала небольшая серебряная кисть. Бобо равнодушно подобрал ее и сказал:

— Служу Восточному рынку. Но только на что она мне теперь? Нет, все равно не жить мне, амир.

— Э... погоди. Еще самое главное впереди будет. Ну-ка, скажи мне, сынок: есть ли у тебя мечта?

Бобо хотел сразу же «нет» сказать и уже голову к столбу, где камера висела, поднял, но тут увидел над этим столбом яркие радужные звезды — и сразу осекся, смолк, словно язык проглотил. Молча смотрел он на звезды, а в голове вдруг имя ночи возникло: Лейла.

— Только одна мечта осталась, амир, — ответил наконец Бобо. — Хочу еще раз на дальние звезды вблизи посмотреть, как раньше.

— Вот, я так и думал! Сказано — сделано. Будут тебе звезды. А ну-ка — Харик, Марик, не спать! Подарок сюда тащите!

Псы лениво поднялись, потянулись и потрусили к сараю, стоявшему у самой воды. Когда они зашли в этот сарай, оттуда вдруг донесся такой нечеловеческий рев, что Бобо сразу мечтать перестал и даже присел от страха. Немного погодя собаки вышли из дверей, пятясь задом. В зубах у них была уздечка, за которую они тянули маленького серого ишака. Ишак упирался всеми четырьмя ногами в землю и время от времени ревел, как сирена.

— Вот он, гордость наша! — в голосе Шаддада звучала настоящая нежность. — Ну разве не красавец?

— Ты про кого говоришь, милосердный? — изумился Бобо. — Не про этого ли ишака?

— Э... Ты думаешь, это простой ишак, да? Нет, это не ишак, это сам прогресс на четырех ногах! Ишак этот на реактивной тяге. Третью космическую скорость с одного удара за семь секунд развивает, ты представляешь?

— Прости мое невежество, о амир, но я таких слов не понимаю.

— Ну летучий он, на нем к звездам лететь можно. Быстро летишь, как молния. И никто тебя не догонит, даже сам Джибрил. Потому что ишак этот ре-ак-тив-ный. Понимаешь ты или нет?

— Нет, не понимаю, амир.

— Ну ничего, взлетишь — сразу все поймешь, как только уши заложит. А ну-ка скажи — доволен ты подарком?

— Да умножатся капиталы повелителя от каждого проявления его щедрости... — пробормотал Бобо.

Он подошел к ишаку и погладил его по шее. Ишак сразу прекратил реветь, шевельнул ушами и стал смирно.

— Вот, видишь, сразу хозяина почувствовал, — обрадовался Шаддад. — А может, он потому такой смирный, что на тебе сегодня Насреддин надет. Ну, давай, давай! Садись!

— А как он заводится, ишак этот? — спросил Бобо.

— Как все ишаки, промеж ушей заводится.

— А чем его заводить?

— Хвостом бей, не ошибешься.

— А тормозить?

— Тоже хвостом. Сопло ему затыкай. У тебя теперь кисточка есть, больно не будет.

Бобо подумал еще немного, а потом решительно прицепил к хвосту серебряную кисточку. Он хотел уже было сесть на ишака, но вдруг остановился и спросил:

— Амир, а почему на этом ишаке нельзя было на Западный рынок лететь?

— Конвенциями запрещено. Мы законы соблюдаем. Ну, хватит болтать. Садись!

Бобо вскочил в седло.

* * *

И вот уже робкиесилаты, сгрудившись на Луне, замороженно провожали глазами огненное пятно, расплывавшееся под хвостом реактивного ишака. Бобо видел, как ангелы сливаются с бесами в красно-золотые ленты, и блеск их стелется по сторонам его пути, словно новогодняя мишура по Западному небу. Краем глаза замечал он, как мелкие бесенята, что вечно играют в снежки кометами вблизи горячих планет, останавливаются и провожают восторженными криками невиданного всадника. Он чувствовал, как тихие души сорвавшихся с моста в рай вздрагивают и оживают на миг, чтобы бросить взгляд на чудесное виденье из прежнего мира. И казалось ему, что даже сами

синие ледяные планеты замедляют свой важный полет, чтобы подольше побыть с ним наравне.

Но не прошло и часа, как все они остались далеко позади. Вот и приблизился Бобо к самым звездам, вот и попал туда, где никогда не бывал раньше, куда нет пути ни одному демону.

Он оглянулся по всем шести сторонам: никого, совсем никого нет теперь рядом с ним. Только чернота и пустота, как в душе, не знающей больше любви.

Но что это за пятно несется позади, увеличиваясь с каждым мгновением? Не великий ли это Джабрил, управившись с бесовскими ратями, догоняет теперь беглого шайтана?

Нет, это не Джабрил.

У Джабрила нет таких острых ушей. У Джабрила нет такого пушистого хвоста. Ни у кого в мире нет такого мандаринового цвета!

— Отличный ишак у тебя, — услышал он знакомый голос. — Надо же, не пожадничал Шаддад.

Радость заволновалась в груди шайтана.

— Великий шейх? Но разве не остался ты со сладкой Лейлой и тридцатью процентами акций?

— А ну их! — беспечно ответил кот, принаравливая свой бег к ходу чудесного ишака. — Революция-то кончилась. Ску-учно там теперь. А ну-ка, давай посмотрим, кто быстрее летает — я или этот длинноухий? Раз... Два... Три! Догоняйте, копытные!

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)7
С-79

Художник обложки Владимир Камаев

Степанов Андрей

С-79 **Сказки не про людей** / Степанов А. — М.: Livebook/Гаятри, 2010 — 224 с.

ISBN 978-5-9689-0172-9

«Сказки не про людей» - это калейдоскоп улыбок: мягких, скептических, иронических, саркастических - любых. Книга написана о том, что такое человек, но при этом ее герои – по большей части животные: от попугая Екатерины II до современной русско-американской гориллы. Кроме того, имеются влюбленные шайтаны, интеллигентные микробы, ученые муравьи и многое другое. Действие происходит в самых разных местах: от некоторых скрытых частей человеческого тела до открытого космоса, от Зимнего дворца до реки Леты. Редкий жанровый коктейль - анекдот, притча, басня, новелла и волшебная сказка - замешан на языковой игре. После употребления будет очень смешно и чуть-чуть грустно.

ОСТОРОЖНО: при повторном чтении можно надолго впасть в задумчивость.

© 2009, А. Д. Степанов

© 2009, Студия Арт. Лебедева

© 2009, Livebook/Гаятри

Степанов Андрей

Сказки не про людей

Корректор Надежда Кондрат

Подписано в печать 19.01.2010.

Формат 60×84¹/₁₆. Печать офсетная. Бумага для ВХИ.
Усл. печ. л. 13,02. Доп. тираж 2000 экз. Заказ № 23.

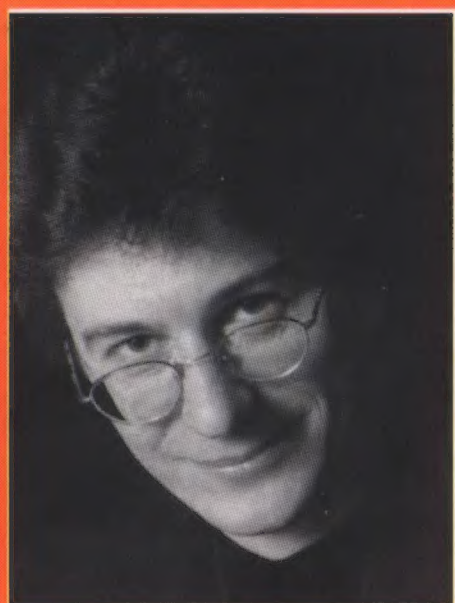
ИД «Гаятри»

113035, Москва, ул. Балчуг, д. 11

www.livebooks.ru

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
<http://www.uralprint.ru> e-mail: sales@uralprint.ru





Андрей Степанов — профессор русской литературы (СПбГУ), литературный обозреватель (журнал «Прочтение»), переводчик с английского (Даниель Дефо, Кинки Фридман, Брайан Барроу). Еще и сказочник.



Поздний дебют — пусть не отдельный литературный жанр, но уж точно отдельная глава истории литературы. Узнав всего пару лет назад критика Степанова, неизменно внятного в мысли, четкого в оценках и осведомленного в контекстах, я был удивлен, обнаружив чуть позже, что тот же человек сочиняет и прозу. Прозу, критике вопиюще противоречащую: барочную, алогичную, пышную, орнаментальную; я бы сказал, выстраданно-самостоятельную. Сколько еще талантов несуетно таится на просторах России... Вопрос к птице-тройке.

Вячеслав Курицын



Прочитав эти мудрые сказки «не про людей», хочется сказать себе: будь человеком. Надевая костюм, не забывай, что и костюм надевает тебя. А если твоя собака заговорила, не торопись ее прогонять. И хотя бы иногда думай о вечном.

Сергей Носов

ISBN 978-5-9689-0172-9



9 785968 901729 >

Обложку оформили в Студии Артемия Лебедева
в 2009 году



Андрей Степанов

Сказки не про людей